

Premium book
КАРЛ-ЙОГАНН
ВАЛЬГРЕН
ЖИВОПИСЕЦ
ТЕНЕЙ

Ripol classic

«КТО ИСПЫТАЛ НАСЛАЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА,
ДЛЯ ТОГО УЖЕ ВСЕ ДРУГИЕ НАСЛАЖДЕНИЯ
НЕ СУЩЕСТВУЮТ».

А. П. Чехов

Premium book

Карл-Йоганн Вальгрен
Живописец теней

«РИПОЛ Классик»

2009

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)6-44

Вальгрэн К.

Живописец теней / К. Вальгрэн — «РИПОЛ Классик»,
2009 — (Premium book)

ISBN 978-5-386-08780-7

Карл-Йоганн Вальгрэн – автор восьми романов, переведенных на основные европейские языки и ставших бестселлерами. После смерти Виктора Кунцельманна, знаменитого коллекционера и музейного эксперта с мировым именем, осталась уникальная коллекция живописи. Сын Виктора, Иоаким Кунцельманн, молодой прожигатель жизни и остатков денег, с нетерпением ждет наследства, ведь кредиторы уже давно стучат в дверь. Надо скорее начать продавать картины! И тут оказывается, что знаменитой коллекции не существует. Что же собирал его отец? Исследуя двойную жизнь Виктора, Иоаким узнает, что во времена Третьего рейха отец был фальшивомонетчиком, сидел в концлагере за гомосексуальные связи и всю жизнь гениально подделывал картины великих художников. И возможно, шедевры, хранящиеся в музеях мира, принадлежат кисти его отца... Что такое копия, а что – оригинал? Как размыты эти понятия в современном мире, где ничего больше нет, кроме подделок: женщины с силиконовой грудью, фальшивая реклама, вранье политиков с трибун. Быть может, его отец попросту опередил свое время?

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)6-44

ISBN 978-5-386-08780-7

© Вальгрен К., 2009
© РИПОЛ Классик, 2009

Содержание

1	7
2	53
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Карл-Йоганн Вальгрен

Живописец теней

© Carl-Johan Vallgren, 2009

© Перевод. Штерн С. В., 2010

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2010

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

1

Смерть Виктора Кунцельманна ошеломила всех, и в первую очередь его адвоката, нашедшего Виктора мертвым – в плетеном кресле перед мольбертом, с кистью в руке.

Усопший до самого последнего момента был на удивление бодр, его миловали болезни. Несмотря на свои восемьдесят три года, он прекрасно выглядел, играл в теннис и шахматы, был заметной фигурой в общественной жизни Фалькенберга – города, где прожил последние сорок лет и где выросли, в стороне от штормовых ветров большого мира, его дети – Иоаким и Жанетт.

Карьеру Кунцельманна-старшего, знаменитого реставратора картин, можно было назвать легендарной. Эксперт в самых разных областях – от барочной скандинавской живописи до прусского золотого века. Незаменимый советник всех скандинавских художественных музеев. Коллекционер с европейской известностью... истинный интернационалист, как он сам себя называл. Интернационалист на службе Святого Искусства.

Известие застало Иоакима Кунцельманна, уже почти сорокалетнего сына Виктора, на Готланде, где он полгода назад купил дом. Собственно говоря, покупка была не по карману: выплаты намного превышали его скромные доходы журналиста-фрилансера. Сознание, что он отхватил кусок не по зубам и скоро придется за это расплачиваться, сильно отравляло ему жизнь этим летом. Шесть лет назад, когда его оставила первая (и доселе единственная) жена Луиза, он, чтобы утешиться, взял кредит и купил квартиру на Кунгсхольмен в Стокгольме, слишком большую и слишком дорогую для холостяка. Неудачные операции с акциями в конце девяностых и охватившая его неумемная потребительская лихорадка подорвали бюджет окончательно. Кстати, дом на Готланде в поселке Бурс он купил после пары джойнтов¹ и половины трехлитрового «бэг-ин-бокс» калифорнийского каберне марки Chill Out... И теперь ежемесячные выплаты подскочили до двадцати с лишним тысяч крон. Долго так продолжаться не могло – это было ясно всем, за исключением его доверчивого банковского клерка. Но того удалось обмануть сравнительно профессиональными, хотя и полностью лживыми финансовыми отчетами за последние два года, состряпанными самим Иоакимом. Он даже мастерски подделал подпись ревизора. Глянув на эту липу, банковский служащий без лишних слов оформил кредит, который Иоаким смог бы погасить из собственных средств разве что во сне.

Поэтому известие о смерти отца, помимо горечи утраты, принесло Иоакиму некоторое облегчение: состояние отца, заключенное в багетные рамы и поровну поделенное между ним и сестрой, поможет решить все его финансовые ребусы легко и безболезненно. Но он не хотел заранее праздновать победу, поэтому и решил провести этот июньский вечер 2004 года перед экраном телевизора с бокалом в руке, сдержанно оплакивая отцовскую кончину.

Отцовский адвокат, и по совместительству бухгалтер, нервный господин по фамилии Сембурн, позвонил ему как раз в тот момент, когда начинался матч чемпионата Европы между Швейцарией и Англией. По случаю такого события Иоаким с легким сердцем отложил статью о Самюэле Хантингтоне² и геополитической ситуации нового тысячелетия, обещанную некоему загадочному политическому журнальчику, издаваемому где-то между Тимбру и остальной частью вселенной.

– Отец... От чего он умер? – спросил он, уменьшая звук и пытаясь вспомнить, как он вообще здесь оказался. Перед экраном 14-дюймового телевизора, в доме, который был ему не по средствам, на продуваемом всеми ветрами острове посреди Балтийского моря.

¹ Джойнт – сигарета с марихуаной.

² Хантингтон Самюэль (1927) – американский политолог, автор нашумевшей книги «Столкновение цивилизаций».

– Врач говорит – отравление. – Голос адвоката дрожал. – Это я его нашел. Заскочил на минутку, спросить кое-что по его декларации. А он сидит в своем плетеном кресле... На мольберте старая картина – похоже, хотел где-то цвет восстановить или, может быть, сделать копию... Ничего не понимаю... Точно такая картина висит у меня в офисе, оригинал Нильса Трульсона Линдберга, варбергская школа, если тебе это что-то говорит. Я купил ее у твоего отца в середине семидесятых, довольно дорого... И насколько я знаю, есть только одна-единственная версия этого полотна, и она сейчас у меня перед глазами... Виктор как раз положил пару мазков на щеку этой хуторянки... ну, которая варит сыр.

– Вы имеете в виду, отец сделал копию?

– Я не знаю, что я имею в виду... все вверх ногами. Мало того, на соседнем мольберте незаконченная картина... Дюрера! Ты подумай – *Дюрера!* И куча каких-то реактивов, будто это вовсе и не мастерская реставратора, а химическая лаборатория. Вестергрэн не исключает отравления. Я приношу мои соболезнования! – вдруг вспомнил он.

Спортивный комментатор Петер Йиде в безвкусно оформленной студии что-то с воодушевлением комментировал – насколько Иоаким понял, статистику угловых в первом тайме.

Он попытался погрузиться в глубины подсознания – по методу, предложенному недавно его психотерапевтом. Суть метода заключалась в противоречащем законам хронологии сопоставлении взрослого Иоакима Кунцельманна с шестилетним Иоакимом Кунцельманном. Психотерапевт с многозначительным именем Эрлинг Момсен³ почему-то был уверен, что шестой год – критический период в жизни любого растущего без матери мальчика.

На этот раз попытка заняться самоанализом ни к чему не привела – как он ни старался, он не чувствовал никакого горя. Единственное, что не давало Иоакиму покоя, – он не мог понять, при чем тут отравление. И почему Виктора нашли в кресле перед мольбертом с намертво зажатой в руке кистью? Виктор, конечно, учился когда-то живописи, но по мере того, как росла его репутация блистательного реставратора, писать перестал... а если бы и в самом деле взялся за кисть, Иоакиму было бы об этом известно. Он слишком хорошо знал отца – тот тут же начал бы хвастаться всем и каждому своими живописными достижениями. И совсем уж удивительно, что он начал что-то писать в стиле варбергской школы. Может быть, по работе ему и приходилось иметь с ней дело, но художники эти были вовсе не в его вкусе. А уж что касается Дюрера, Иоаким просто не знал, что и подумать.

Все эти вопросы повергли его в недоумение. Уголком сознания он отметил, что комментатор Петер Йиде тоже недоумевает: на экране возникли кадры, никакого отношения к его комментариям не имеющие, – должно быть, режиссер перепутал камеры. Единственное, что не обесценивается в спекулятивной экономике третьего тысячелетия, – это искусство, решил Иоаким. Нажатием кнопки он отправил комментатора в небытие и заставил себя прислушаться к излияниям адвоката.

Искусство вечно... отец был прав, он пришел к такому же заключению полвека назад, когда начинал свою вторую жизнь в Стокгольме. Только искусство и вечно. Каждый эре⁴ отец вкладывал в самое одухотворенное из человеческих ремесел. У него, насколько было известно Иоакиму, не было ни фондов, ни акций, ни пухлых банковских счетов – но какое это теперь имело значение? Клее, купленный Виктором за пять тысяч крон на выставке в конце пятидесятых, сегодня просто не имеет цены. За маленькую работу Сигрид Йертен⁵ с арлекином на коне он заплатил когда-то старьевщику в Авесте семьсот пятьдесят крон. А через тридцать лет финансист Томас Фишер предлагал ему через посредника полмиллиона,

³ Игра слов: *tomms* (швед.) – налог на добавленную стоимость.

⁴ *Эре* – мелкая монета, сто эре составляют крону.

⁵ *Сигрид* Мария Йертен (1885–1948) – шведская художница, ученица Матисса, начинала как приверженка фовизма, но в дальнейшем творчество ее приобретало все более экспрессионистский характер.

но Виктор даже не потрудился ответить. Идиоты вроде Семборна пытались внушить нервным провинциалам, что акции и государственные облигации приносят верный доход. Чистая ложь! Никакие инвестиции не могут соперничать с ростом цен на признанное искусство.

У Виктора даже не было кооперативной квартиры – во-первых, само это понятие в маленьком Фалькенберге было почти неизвестно, а во-вторых, в его коллекционерском мозгу вряд ли могла даже возникнуть идея такой покупки. Все, что ему было нужно, – съемная квартира на Чёпмансгатан, где разместились два десятка картин. Остальные он держал в банковском хранилище. Единственным вложением Виктора в недвижимость стала постройка дома на берегу моря к северу от Фалькенберга, где он оборудовал реставрационную мастерскую и ателье. То самое ателье, где Семборн нашел его мертвым, с признаками отравления... но чем?

– Может быть, самоубийство? – спросил Иоаким с ощущением, что эти дикие слова вместо него произносит кто-то другой.

– Возможно. В тканях обнаружено повышенное содержание свинца. И еще каких-то соединений, не помню названий.

– Свинца?

– Ну да. Не револьверных пуль, разумеется... Химического элемента – свинца.

– Откуда вам это известно?

– Вестергрэн взял какие-то пробы. Он говорит – отравление.

– Но если отец покончил с собой, должно же быть предсмертное письмо?..

– Ни буковки. Ты прав, конечно. Самоубийцы обычно оставляют подробное письменное объяснение своего неожиданного ухода. При моей профессии то и дело встречаешься с такими полубезумными завещаниями, написанными шариковой ручкой за пять минут до того, как веревка затянется вокруг шеи... на салфетках, пивных подносах, в фирменных блокнотах. Но Виктор-то сидел с кистью в руке... Впрочем, Вестергрэн может дать тебе более подробный отчет о причинах смерти. Я продиктую его телефон...

Должно быть, в какой-то момент адвокат все-таки повесил трубку, потому что Иоаким вдруг обнаружил себя сидящим в кресле со старым фотоальбомом – зачем-то он прихватил его с собой на Готланд. Потягивая виски, он рассматривал фотографии Виктора, позирующего в английской морской форме, с наградами за проявленное в морских боях мужество. Судя по карандашной пометке на обороте, отец был запечатлен для потомков в мае 1943 года.

Жизнь Виктора Кунцельманна, спроецированная на европейскую историю двадцатого столетия, напоминала кадр с двойной экспозицией. Иоаким никогда не задумывался над парадоксами в отцовской биографии.

Вот этот человек в британской морской форме – его отец. Он вырос в Берлине – сто-процентный немец, даже ариец, если пользоваться странными критериями его современников. Он родился в Митте⁶, рано потерял родителей и воспитывался в католическом приюте. Вскоре после начала войны его призывают в армию, но он дезертирует и бежит в Голландию, откуда помогающая беженцам организация переправляет его в Дувр. В Лондоне он поступает в знаменитый Институт искусств Курто⁷, чтобы изучать живопись (точнее, продолжить изучение живописи, начатое еще в довоенном Берлине в Академии искусств). Но в 1941 году приходит в комиссариат военного флота в Брайтоне и вербуются во флот. Мотивы такого решения туманны. Как-то он заявил, что в то время симпатизировал коммунистам; потом выяснилось, что на его юношеское сознание оказали магическое воздействие антинацистские речи Томаса Манна в немецкоязычных программах Би-би-си...

⁶ *Mitte* – центральная часть Берлина.

⁷ *Институт искусства Курто* (Courtauld Institute of the Art) – Институт истории искусств в составе Лондонского университета, располагающий собственным художественным собранием.

Иоакима не оставляло чувство, что именно эти противоречия и заставили отца предъявить на первом домашнем «суде присяжных» снимки, где он вроде бы стоит на мостике английского «морского охотника» в Северном море. И еще одна фотография из того же альбома: отец в гражданской одежде, с повязкой на руке. Подвергнутый перекрестному допросу десятилетней Жанетт и двенадцатилетним Иоакимом, только что прочитавшими о Второй мировой войне в школьном учебнике, «подсудимый» показал, что второй снимок сделан в лагере для военнопленных в Бранденбурге. Его, панически боявшегося, что англоязычные переводчики гестапо обнаружат его немецкий акцент, поместили туда после того, как «морской охотник» был торпедирован немецкой подлодкой... И вот, в страшный шторм весь экипаж – как пояснил Виктор замершим в восхищении детям, – весь экипаж чудом поместился в единственную неповрежденную спасательную шлюпку. А затем по приказу никак не меньше чем самого адмирала Карла Деница был поднят на борт немецкого «миноискателя», случайно находившегося там же, во враждебных водах Дании.

После разговора с адвокатом Семборном Иоаким попытался вспомнить, когда он последний раз виделся с отцом. Да, пришел он к выводу после недолгого размышления, это было недели три назад. Тогда он сделал безуспешную попытку занять у отца денег. Принимая во внимание расходы, вызванные покупкой дома на Готланде, сумма была до смешного малой. Какие-то тридцать тысяч крон, только чтобы заткнуть самые зияющие дыры в его бюджете.

Прошло уже полгода, как Иоаким приобрел этот дом в Бурсе. Лысый маклер из Висбю с жаром убеждал его, что он стоит на пороге самой удачной в своей жизни сделки. Недвижимость на Готланде, сказал маклер, дорожает примерно на десять процентов в год – это чуть ли не вдвое больше, чем в среднем по стране. И даже если цена на старую деревенскую хижину несколько завышена – особенно если вспомнить о некоторых недостатках: водопровода нет, только колонка во дворе, разбитые стекла в отхожем месте, дырявая крыша во флигеле, засоренные дымоходы (все до одного), обвалившаяся штукатурка (семьдесят процентов фасада), плесень в кухне, мох на чердаке, потолочная балка вот-вот обвалится под собственной тяжестью, та же участь ожидает сложенный из известняка сарай, – несмотря на все это, сказал маклер, Иоаким может быть уверен, что через пару лет сумеет при необходимости продать этот дом за сумму, намного превышающую назначенные (из чистой щедрости, разумеется) 1,6 миллиона. Бурс – фактически последнее селение на острове, не затронутое массовым туризмом, сказал маклер, нервно прикуривая одну сигарету от другой. И близость к Стурсудрету нельзя недооценивать... Скоро миллионерам и членам академии из Вамлингбу⁸ понадобится Lebensraum⁹, и первым на очереди будет юго-восточное побережье. Мысль о юных миллионершах и дочках академиков стала для Иоакима решающей. Перед таким коктейлем из денег, изысканного гуманитарного общества и сексуальных перспектив устоять он был просто не в силах. Даже не пригласив строительного инспектора, чтобы реально оценить состояние дома, и четко понимая, что с сегодняшнего дня банк будет ежемесячно снимать с его счета двадцать тысяч (а поскольку его доходы составляли не больше половины этой суммы, воздушный замок его личной экономики разлетится на куски), даже сознавая все это, он подписал контракт.

Но нельзя сказать, что его генеральный план был полностью лишен смысла. В Стокгольме он просто-напросто не мог работать – воздух в его квартире был необратимо отравлен дурными привычками. Последний год Иоаким посвятил созерцанию рисунка обоев в кабинете, складыванию нераспечатанных конвертов со счетами в кучу под кроватью и без-

⁸ Вамлингбу – селение на Готланде, объект туризма и популярное дачное место.

⁹ Lebensraum (нем.) – жизненное пространство, печально знаменитый термин из лексики нацистов.

вольному блужданию в Интернете в поисках голых женщин, на мгновение утоляющих его неизвестно куда направленную страсть.

Кухня представляла собой собрание пустых винных бутылок по шестьсот крон за штуку (Шато Бе-Сежур Бекот-82, Айтельбахер Картхойзерхофберг Рислинг Ауслезе-89, Поммар Гран Кло дес Эспенотс-99). На автоответчике скапливались раздраженные монологи – от друзей, которым он задолжал деньги, и от редакторов, которым он задолжал тексты статей. Ему нужно было что-то новое... как-то реализоваться, наконец.

И сама мысль о фантастическом острове Готланд, жемчужине Балтики, немедленно подтолкнула его угасающий творческий потенциал. Там-то он найдет все, что ему нужно, решил он, морской воздух и просторы помогут подзарядить батареи. Один и шесть десятых миллиона были долгожданной инвестицией в его творческую мощь. И это вложение окупится многократно в виде вороха статей и успешно продаваемых книг. На обороте контракта он тут же набросал несколько возможных тем для статей, тут же родившихся, словно задаток будущего неизбежного вдохновения: «Скрытые суицидальные метафоры в ранней лирике Симуса Хини»¹⁰, «Фаллический ужас в „Игре снов“ Стриндберга», а также «Сексуальные дискурсы на попсовом чат-форуме „Lunarstorm“».

Через несколько месяцев внезапное творческое извержение, а точнее сказать, задаток творческого извержения в виде небольшого дымка из кратера иссяк в потоке счетов и финансового самообмана. Он задолжал друзьям около ста пятидесяти тысяч. Один из них, к ужасу Иоакима, угрожал нанять байкеров, которые, помимо основной деятельности по торговле живым товаром и контрабанде кокаина, сколотили в Сольне банду по выбиванию долгов, или, как теперь это называется, создали коллекторскую фирму... Что за идиотский эвфемизм! Эрлинг Момсен, психотерапевт, грозил прервать лечение, поскольку Иоаким задолжал ему за полгода. А его последняя подружка, неотразимая Сесилия Хаммар, редактор гламурного журнала по интерьеру, неожиданно выказала вкус к роскоши. Эту роскошь Иоаким мог предложить ей, только занимая деньги у новых знакомых. Поэтому он и позвонил тогда отцу, надеясь, если возможно, получить кое-что из отцовского наследства авансом. Но ожидаемого припадка щедрости не случилось. Продай дом, коротко сказал отец. Иоаким так бы и сделал, но тут выяснилось, что маклер его надул: рыночная цена на его дом не превышает шестисот тысяч крон.

Унижение, испытанное в разговоре с отцом, навело его на мысль: почему ни у него самого, ни у сестры Жанетт нет детей? В те периоды, когда он жил с женщинами, сама мысль перекачать кунцельманновскую ДНК грядущим поколениям казалась дикой по каким-то ему самому неясным причинам. Он оправдывал собственное нежелание размножаться чем угодно: пока еще нет достаточной материальной базы; он в той жизненной фазе, где нет места для младенца; войны, экологические катастрофы, терроризм; несчастная, перенаселенная, обреченная планета, внезапно попавшая в круг его повседневных и неустанных забот... Все это он подкреплял несколькими высокопарными цитатами, почерпнутыми из теории Лавлока¹¹. Короче говоря, приводил все возможные и невозможные объяснения простого факта, что в акте размножения его интересует только чувственный, а отнюдь не биологический аспект. А еще менее ему интересна подгнившая генеалогическая крона, где Кунцельманны – не более чем крошечный и малозаметный сучок. До поры до времени все подружки делали вид, что его понимают.

Раскусила Иоакима только бывшая жена, Луиза. Она прощала ему измены, неумение любить, небрежность и летаргию, эмоциональную тупость, неприлично обширную коллек-

¹⁰ Хини Симус (род. 1939) – ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии (1995).

¹¹ Лавлок Джеймс Эфраим (род. 1919) – английский ученый, эколог. Выдвинул так называемую гипотезу Гайа, основанную на том, что Земля является своего рода суперорганизмом.

цию «Playmates of the year»¹², прощала невнимательность, нашедшую лучшее подтверждение в том, что он забывал день их свадьбы семь лет подряд... прощала бытовую неопрятность. Даже при всем этом она не ушла бы от него, если бы не генетическая халатность. После восьми лет супружества ее женский биологический будильник начал звонить почти истерически: ты миновала свой самый плодородный возраст, у тебя совсем нет времени! Прыгая в спасательную шлюпку с осклизлой палубы идущего ко дну семейного корабля, она тактично умолчала об истинных причинах ухода, но Иоаким, несмотря на всю свою эмоциональную черствость, был вовсе не дурак. Через год, случайно встретив Луизу, он сразу понял, отчего дала крен их шхуна: она была на пятом месяце беременности.

А вот по каким мотивам не было детей у его сестры, он и понятия не имел. Жанетт уехала из Фалькенберга в Гётеборг изучать историю искусства и уже семнадцать лет жила с одним и тем же мужчиной, но брак был бездетным. Она моногамна на грани с аутизмом, определил как-то Иоаким. Он готов был держать пари на любое полотно Карла Нордстрёма из коллекции отца, что сестре даже в голову не приходит завести интрижку на стороне. Как-то в пастельные восьмидесятые отец помог ей открыть галерею на Васагатан в Гётеборге. Виктор подарил дочери серию коллажей отодвинутого Малевичем и Родченко на второй план Лисицкого, а также дал адреса знакомых коллекционеров и знатоков искусства в Гётеборге, которых она должна пригласить на первый вернисаж, чтобы не остаться незамеченной.

Бедняжка Жанетт! Его застенчивая сестренка, имевшая классический облик победительницы конкурса «Мисс Швеция», в то время сражалась с легионом одолевающих ее комплексов. Она была очень красива, но красота ее была несколько холодноватой... Ее словно только что вынули на свет божий из погребца. Мужчины говорили с ней о ее прекрасной душе и загадочности ее ослепительного интеллекта – старый гостиничный трюк, чтобы переспать с неуверенной в своей привлекательности девушкой! И они раз за разом разбивали ей сердце. Что не только усугубляло ее застенчивость, но и добавляло красоте оттенок боли, совершенно неотразимый для мужчин со скрытыми садистскими наклонностями.

Богемная атмосфера вернисажей была тогда для нее невыносима – она обычно начинала краснеть, если в помещении было больше двух незнакомцев одновременно. Но на первую же выставку пришло двести сорок человек и девятнадцать породистых собак. Не успел рислинг согреться в пластмассовых стаканчиках – как все было продано! Событие описали в дюжине местных газет. А в «Западных новостях» обозреватель решился на осторожное предположение, что, похоже, приходит новое поколение бесстрашных галеристов, которым интересен не только классический авангард, они решаются бросить публике вызов работами полузабытого русского супрематиста и новатора.

Вскоре после нашумевшего вернисажа за ней стал ухаживать доцент с кафедры социологии, чья работа неведомыми научными нитями была связана с искусствоведением. Его звали Эрланд Роос, в душе он был коммунистом. Иоаким презирал его с первого взгляда.

Эрланд, как он считал, типичный культурпсихопат: академический сноб, одержимый своей значительностью и превосходством над недоумками, еще не овладевшими системой построения теорий в его научной сфере. Ко всему прочему, он был еще и левым сектантом, напоминающим Фиделя Кастро – как внешне, так и авторитарными политическими идеями. Иоаким не мог понять, как этому бородатому коммуняке удалось заманить его красивую сестру в силки, сплетенные из научного пустозвонства и студенческих комплиментов, – это была загадка на уровне теоремы Ферма. Эрланд-Кастро увенчал карьеру завоевателя победой над одной из самых красивых и одаренных женщин, когда-либо учившихся в Гётеборгском университете... Нет, совершенно непостижимо, с чего она на него запала?

¹² Playmates of the year – красотишки года (англ.).

Только теперь Иоаким начал понимать, что его сестре вовсе не нужен был какой-то определенный тип мужчины. Ей был нужен образ отца.

Иоаким в последние годы неудачно продавал и покупал акции, затевал несостоявшиеся книжные проекты, все больше употреблял алкоголя и все меньше писал статей. Заводил связи с несчетным количеством женщин неопределенного возраста и происхождения – как он себя убеждал, чтобы стереть из памяти бракоразводные неурядицы. Жанетт тем временем стала крестной матерью целых четырех детишек ее подруг. Она относилась к этому с такой серьезностью, будто и вправду ожидала, что дети вот-вот останутся сиротами и ей придется выполнять свой крестно-материнский долг. Прежде она и сама мечтала иметь много детей, и как можно раньше... Здесь, по-видимому, и была зарыта собака фрейлейн Анны О.¹³, если пользоваться одним из неудачных сравнений Эрланда, почерпнутых в затхлом фрейдистском сундуке, где он, впрочем, и черпал большинство своих идей: конечно же роковую роль сыграло отсутствие матери!

Может быть, может быть, думал Иоаким. Почему бы нет? Смерть матери вполне могла каким-то образом сцепиться в подсознании Жанетт с деторождением или с пугающей возможностью, что история повторится и ее дитя тоже может рано остаться без матери...

У Иоакима всегда было чувство, что в официальной истории смерти их матери что-то не стыкуется. Например, в семье сохранилась только одна ее фотография. Единственная – портрет в паспорту, с незапамятных времен стоявший на письменном столе Виктора на Чёпмансгатан в Фалькенберге. Обычная женщина, лет тридцати, в грубошерстном пальто до колен и лыжных брюках. Пейзаж явно норрландский – это они с Виктором в 1963 году катались на лыжах. Снимок сделан одним из первых появившихся инстаматиков¹⁴. Каждый раз, когда Иоаким смотрел на эту фотографию, его охватывало странное чувство – смесь холодного равнодушия и безграничной боли утраты.

На вопрос, почему у него нет других снимков матери, Виктор обычно лаконично отвечал – исчезли при переезде... В общем, вокруг этого снимка сорокалетней давности всегда клубился мерцающий туман некой тайны.

Женщина, одетая для лыжной прогулки, по имени Элла Симоне... Виктор рассказывал, что она была из состоятельной семьи, но порвала с ней по неизвестным причинам, поэтому ее родственники никогда и не пытались наладить контакт с братом и сестрой Кунцельманн. Ни Иоаким, ни Жанетт похожи на нее не были, хотя Виктор утверждал, что сын унаследовал ее цвет глаз, а дочь – на редкость чувствительную натуру. Через полгода после рождения Жанетт мать умерла от загадочной болезни печени.

Если верить Виктору, они встретились в начале шестидесятых на выставке фламандской живописи в Стокгольме, куда оба были приглашены в качестве экспертов. Работая вместе, они полюбили друг друга.

Иоаким не припоминал, чтобы отец когда-нибудь выказывал сентиментальные чувства по поводу смерти Эллы. Насколько ему было известно, он даже не был на ее могиле – хотя могила Эллы не была в прямом смысле могилой: она завещала развеять ее прах в памятной роще под Стокгольмом.

Будучи вдовцом, он никогда никаких отношений с женщинами не заводил. Дети, по крайней мере, об этом не знали. Но связь между смертью Эллы и воздержанием Виктора вовсе не была сама собой разумеющейся. В возрасте семи или восьми лет, когда дети начинают задумываться над экзистенциальными вопросами, Иоаким и Жанетт спрашивали его о матери, но он отвечал односложно. Дети замечательно приспосабливаются к окружающей

¹³ Фрейлейн Анна О. – Первый случай успешной логотерапии девушки, больной истерией, описанный доктором Бройером в 1893 году. Впоследствии этим примером часто пользовался Фрейд.

¹⁴ Инстаматик – первая дешевая общедоступная фотокамера (ныне называемая «мыльницей»), обеспечивающая приличное качество съемки. Впервые разработана фирмой «Кодак».

среде, у них нет другой жизни, кроме той, что дали им родители. Они заметили, что отец говорит об этом неохотно, и перестали спрашивать.

Известие о смерти отца застало Иоакима вечером. Поговорив с Семборном, он сделал стоическую попытку дописать начатую статью, но сам посыл казался диковатым. Интегрировать «Фоносимволизм и металипсы» в антиутопии Хантингтона с «трансгрессивными лабиринтами в сознании самоубийц 11 сентября» оказалось намного труднее, чем он себе представлял. Иоаким приложил немало усилий, чтобы выразаться четко и ясно (надо же потрафить редактору) и в то же время вставить пару новых и в меру снобистских формулировок, дабы произвести впечатление на интеллектуального, как он надеялся, читателя. Но такие понятия, как *«метаморфозный терроризм»* или *«итеративная мания убийства в сингулятивном повествовании об арабах»*, при четвертом прочтении казались маловразумительными даже для него. К тому же он опасался, что употребленное им слово *«гиполаз»* существует только в его разгоряченной фантазии, а проверить было негде, поскольку сетевой абонемент «Энциклопедия „Британика“» предлагал исключительно напоминания о неоплаченных счетах. Гонорар за натужный поиск связи между теорией конфронтации в «Конфликте цивилизаций» Хантингтона и последним письмом к другу в Гамбург-Альтона погибшего 11 сентября террориста Мохаммеда Аттаса составлял три тысячи крон (до вычетов). Если вообще удастся эту статью продать. Три тысячи... то есть четыре с половиной кроны в час, до вычетов, если он будет продолжать в усвоенном им за последний год темпе...

В кухне по радио мололи что-то о предстоящем назавтра матче между Швецией и Италией... Иоаким вздрогнул: ему показалось, что он случайно поймал радиостанцию с другой планеты.

Он приготовил себе коктейль водка – тоник (правда, без тоника), сделал два глотка и вылил остаток в раковину. Подумал, не позвонить ли Сесилии Хаммар и не пригласить ли ее на любовный уик-энд в дом на Готланде. Но Сесилия соглашалась на подобные развлечения, только если за нее кто-то платил, а Иоаким, по крайней мере в ближайшие несколько недель, об этом не мог даже мечтать.

Подсознание, старательно избегая оформленных мыслей, попыталось подбодрить его переводом в наличные заключенного в багетные рамы наследства Виктора – получалась сумма, которую он даже не решался произнести вслух... Собрание отца было, наверное, самым значительным в Западной Швеции. Венчали его полотна Дега и Менцеля, а также редкостная смесь немецких модернистов, во главе с Францем Марком и Отто Диксом, с многочисленными работами душевнобольных русских супрематистов. Даже шведская часть коллекции заставила бы позеленеть от зависти директора любого провинциального музея: Агуели, Грюневальд, Йертен, штук двадцать гётеборгских колористов, не считая менее известных художников, чья слава только начала приближаться к вершине.

Мысль о положительных счетах согрела его, и тут он обнаружил, что сжимает в руке бумажку, где записал телефон отцовского врача.

Он вышел с мобильником в сад и набрал номер. Врач, Вестергрэн, ответил так быстро, что Иоаким заподозрил, будто тот в ожидании звонка сидел в засаде.

– Это Иоаким Кунцельманн, – представился он. – Что это за болтовня, будто бы отец покончил с собой?

Врач с профессиональным сочувствием разъяснил ему обстоятельства смерти Виктора. Семборн позвонил Вестергрэну из мастерской в два часа, и через десять минут он был на месте. Смерть наступила не более шести часов тому назад. Причина не совсем ясна, но определенные признаки указывают на хроническое отравление. Вскрытия не будет, если только не пожелают Иоаким и Жанетт.

– Сомневаюсь, что отец принял яд, – сказал Иоаким. – Он не доверял даже обезболивающим таблеткам. А этого человечка, рекламирующего ипрен¹⁵, он просто побаивался.

– Я говорю о хроническом, длительном отравлении, – терпеливо повторил Вестергрэн.

– Не понимаю – что значит длительном?

– Длительное воздействие вредных субстанций: свинец, кадмий, сульфид мышьяка. Точное количество ядов указать трудно.

– Мой отец был коллекционером, а не фармацевтом. Откуда он все это взял?

– Живопись... эти копии, которые он изготавливал, судя по всему.

Иоаким стоял в тени полуразвалившегося каменного сарая, стены которого были когда-то крепки и надежны, как был крепок и надежен отец... И вдруг по телу прокатилась волна горя, ощутимого физически, как боль... Иоакиму показалось, что он вырван из реальности и брошен на произвол какой-то древней силы: он внезапно осознал, что уже привычно говорит о Викторе в прошедшем времени. Уже очень давно он не был так близок к тому, чтобы разрыдаться.

– Виктор прекратил заниматься живописью, когда переехал в Швецию, – выдавил он из себя наконец. – Ателье... это же просто любительская мастерская. Он иногда делал рамы на заказ, приводил в порядок коллекцию, копался в каталогах. Может быть, писал пару акварелей в год – не больше. И как реставратор он уже лет двадцать не работал. Да что там говорить, чтобы поглотить такое количество ядов, надо простоять полжизни в красильной камере без респиратора. Я не понимаю, о чем вы говорите!

Вестергрэн вздохнул:

– Он умер за мольбертом с картиной Трульсона Линдберга. Варбергская школа. Вы знаете, этот художник здесь очень популярен. А на другом мольберте – наполовину готовый Дюрер. Должно быть, он делал что-то вроде пастиша¹⁶...

– Простите меня, Вестергрэн, что вы знаете о Дюрере?

– Не так много, но на столе рядом лежали книги с фотографиями оригинала. А также открытая на главе о немецкой живописи «История мировой культуры» Хью Хонора и Джона Флеминга, издательство «Лоуренс Кинг». Я вовсе не считаю себя знатоком, но, судя по всему, он делал... как это называется... старое панно.

– Что значит – панно?

– Ну, старую картину на доске. Она так и выглядела, будто ей лет пятьсот. И краски он использовал... не современные, скажем так.

– Может быть, он занимался реставрацией? Вдовцы и пенсионеры часто ищут себе занятия...

– Реставрацией? Подлинного Дюрера?! Иоаким, там даже дверь была не заперта!

Впрочем, Иоаким и сам прекрасно понимал, насколько невероятно это звучит: Альбрехт Дюрер в щелястом ателье на берегу в окрестностях Фалькенберга.

– Как бы там ни было, – продолжил врач, – я позволил себе оглядеться немного в мастерской... целая аптека, причем не из простых. А еще точнее, химическая лаборатория, куча странных химикалий, которыми сегодня вряд ли кто из художников пользуется. Знаете, откуда это мне известно? Я как-то ходил на курсы истории искусств в ABF¹⁷, которые вел не кто иной, как ваш отец. Он рассказывал о секретных рецептах старых мастеров: туда входили в высшей степени токсичные элементы. Кадмий, например... Чуть побольше доза – и привет родне!

¹⁵ Болеутоляющее средство «ипрен» рекламирует лилипут в костюме таблетки.

¹⁶ *Пастиш* – вторичное художественное произведение, отличающееся явным, часто намеренным подражанием авторскому стилю. От плагиата отличается отсутствием прямого копирования.

¹⁷ ABF – система факультативного образования для взрослых в Швеции.

– Что вы хотите сказать? Что мой отец годами тайно изготавливал старинные краски и в результате отравился?

– А что тут невозможного? Во всяком случае, при таком раскладе версия самоубийства отпадает. Вы не знаете, он долго этим занимался?

– Чем – этим?

– Копировал старые картины.

Господи, да не копировал он никогда и ничего. Это было просто невероятно, его отец не мог делать копии, он был реставратором. Максимум, на что он был способен, – несколько акварелек в старинном романтическом стиле.

– Это, конечно, могло быть и сердце, – осторожно сказал Вестергрэн, – но, насколько мне известно, кардиологических проблем у него никогда не было. Простите, Иоаким, но мы, врачи старой школы, привыкли доверять интуиции. Молодые сегодня знают все про компьютеры, замысловатые препараты, генную терапию и бог знает что, но чувство диагноза у них отсутствует. Я почти уверен, что в данном случае речь идет о хроническом отравлении.

– А разве от хронического отравления умирают внезапно?

– Вообще-то нет... – неуверенно сказал Вестергрэн. – Обычно это длительный процесс...

– Моей сестре кто-нибудь позвонил?

– Пытались – и я, и Семборн, но никто не отвечает, ни дома, ни в галерее. Вы хотите, чтобы я продолжил ее разыскивать?

– Нет, спасибо, я сам этим займусь... Где сейчас папа?

– В похоронном бюро.

Иоаким попытался представить себе Виктора на носилках, укрытым простыней... в каком-нибудь морозильнике с вентилятором, настроенном в осторожном миноре. На столе наверняка стоит букет цветов в граненой вазе... Странно – для новопреставленных предусмотрено специальное помещение, своего рода отель для убывающих в неизвестность.

На другом конце провода Вестергрэн, профессионально выразив соболезнования, повесил трубку – и Иоаким остался наедине со своей пунктирной пародией на сыновнее горе.

Остаток дня он посвятил практическим делам – поговорил с секретарем в похоронном бюро и попросил священника церкви Святого Лаврентия, где Виктор состоял в общине, отслужить поминальную службу. Потом связался с конторой Семборна, чтобы получить хоть какое-то представление о проблемах налогообложения с наследства, которые уже громоздились на горизонте, набросал некролог для местной газеты «Халландские новости» и для «Свенска дагбладет», с чьей помощью он надеялся разыскать старых музейных знакомых отца в столице. Напоследок Иоаким заказал через Интернет билет на самолет. На его счастье, одна из кредитных карт была еще не заблокирована. Завтра он будет в Стокгольме.

Ближе к вечеру он позвонил по всем трем телефонам Жанетт и на каждом оставил сообщение. В конце концов разговор оказался переведен на Эрланда, и Иоаким, нечеловеческим усилием придав голосу приветливые интонации, оставил сообщение и там. В результате, чтобы отрезать своей недоступной сестре все пути к отступлению, он написал ей длинное и эмоциональное электронное письмо – известил о смерти отца и даже поделился своими чувствами по поводу горестного события. В конце письма он попросил ее незамедлительно с ним связаться.

Когда он наконец совершил все эти действия, на него навалилась такая усталость, словно он пробежал марафон. Погода после пары холодных июньских недель заметно улучшилась. Он вышел в сад, улегся в гамак и, прищурившись, посмотрел на светлое небо, видневшееся сквозь кружевной узор листвы.

Отца больше нет. Ни слова на прощание. Что ж, повестка вручена... теперь его очередь. Или Жанетт. Кто знает? Теперь они остались совсем одинокими, ни одного кровного родственника, ни одного звена в генеалогической цепочке ни до, ни после них.

Всю неделю до похорон Виктора Иоаким просыпался каждую ночь в глухой предрассветный час – его с корнем выдирали из сна автобиографические кошмары. Детство раз за разом всаживало худенький кулачок в солнечное сплетение совести. Его мучили воспоминания, как он в восьмилетнем возрасте отрывал кузнечикам задние лапки и сажал в спичечные коробки. А потом устраивал для насекомых-инвалидов своего рода параолимпийские игры (кузнечикам предлагалось преодолеть препятствия на игрушечной железной дороге «Горги Тойс», подаренной отцом на Рождество; Иоаким с приятелями ставили на победителя игрушечные деньги из «Монополии»). Еще более терзали его воспоминания, как он в том же возрасте отрезал лапки лягушкам, жившим у них в Фалькенберге в аквариуме на балконе.

Эти безногие амфибии посещали его с такой регулярностью, словно кто-то хотел преподать ему высший урок. Они мстительно глазели на него выпученными глазами... в своем лягушачьем царстве мертвых они, должно быть, воспринимали Иоакима с его садистскими экспериментами как лягушачьего доктора Менгеле¹⁸, выбравшего орудием своих преступлений кухонные ножницы. Лягушки яростно квакали, и Иоаким, оказывается, прекрасно понимал лягушачий язык: они с наслаждением описывали адские муки, предстоящие Иоакиму в наказание за причиненные им страдания.

Но даже вопиющие о возмездии земноводные не шли в сравнение с теми страданиями, которые причиняли ему воспоминания о бесстыдном аутоканнибализме, которому он предавался в возрасте от девяти до двенадцати лет. В бессонные предрассветные часы он вспоминал кисло-сладкий вкус засохших корочек на ссадинах или затхлый запах гноя, когда он воровато прикоснулся губами к воспаленной ране. Он помнил солоноватый привкус добываемых им из собственного носа образований, в просторечии именуемых козами; по вечерам, закрыв жалюзи и заперев дверь, он с жадностью поедал побочные продукты своего организма. Он помнил легкое сопротивление этих самых коз, когда он проверял их консистенцию передними зубами, помнил слизистое ощущение в глотке, когда он их глотал, словно кисло-сладкие драже из неисчерпаемой конфетницы носа. Они были клейкими, эти козы, так что иногда он позволял себе воздержаться от пиршества и приклеивал их к нижней кромке кровати, как использованную жвачку. Свои гурманские ощущения он попытался передать в классификации коз в зависимости от их плотности, сухости, вкуса, размера и цвета. Коза, тип II А, содержит примесь крови из носа, особо соленая. Степень сухости 4, легко крошится, слабый запах железа. Коза, тип IV Б, высокое содержание слизи, цвет оливково-зеленый, более водянистая, чем ее кузина типа IV А, имеющая ванильно-желтый цвет. При соприкосновении с твердым небом тает.

Несколько лет подряд он систематически занимался утилизацией вторичных продуктов жизнедеятельности – соплей, ногтей, отшелушивающаяся кожа, гной, кровь, волдыри, ушная сера. Подсохшие кровавые корочки составляли едва ли не наибольший деликатес в его меню, само название заключало в себе намек на замысловатый кулинарный изыск.

– Перестань! – обычно говорил Виктор, видя, как сын осторожно приподнимает краешек присохшей корочки.

– Почему?

– Потому что ссадина никогда не заживет, если ее тереть.

¹⁸ Йозеф Менгеле (1911–1979) – имя этого немецкого врача, проводившего опыты на узниках лагеря Освенцим во время Второй мировой войны, стало нарицательным.

Но шрамы и проблемы гемокоагуляции беспокоили его не больше, чем брезгливая реакция сестры на бесстыжие попытки съесть самого себя по частям – она с негодованием отворачивалась. Он был не в силах противостоять страсти к самоуничтожению. Бесконечная возня со ссадинами, ранками и порезами привела в конце концов к непонятной экземе, причину которой врачи определить не могли. Виктор водил его ко всем ведущим кожным провизорам провинции, пока один из них не выбросил полотенце и не выписал Иоакиму направление к детскому психологу.

Аутоканнибализм – поставил тот диагноз его заболеванию. Или, может быть, Иоаким сам выдумал этот термин, может быть, это одно из его филологических открытий, вроде загадочного слова «*гиполаз*»?

В седьмом классе он всю осень посещал психолога – тот принимал больных в просторном доцентском доме в квартале «Любовь» в Хальмстаде.

– Мальчик стремится наказать самого себя, – объяснял он Виктору через голову Иоакима. – Вы часто уезжаете, и мальчик считает, что это его вина.

– Никакой его вины в этом нет!

– Конечно нет. Но родительское отсутствие часто наводит детей на исключительно деструктивные мысли. Ребенок потерял мать, вы все время путешествуете. Он воспринимает это так, как будто он для вас плох и вы его отталкиваете!

Может быть, в его словах и была доля правды, подумал Иоаким. Почему бы и нет? В театре теней его детской памяти всегда присутствовало ощущение одиночества и слишком рано появившейся ответственности за Жанетт... Долгие периоды душевной полутьмы, когда Виктор был в отъезде и мальчик чувствовал, что дом лежит на нем.

Иногда приходила нянька. Она оставалась на неделю, следила, чтобы у них была еда и чистое белье, уговаривала Иоакима оставить в покое корочки на ссадинах.

Но как только они немного выросли, им пришлось обходиться своими силами. Виктор часто уезжал по делам, как он это называл. Музеи по всей Европе нуждались в его искусстве реставратора, его звали на аукционы оценщиком, частные коллекционеры обращались с просьбами установить подлинность произведения. Он использовал эти поездки и для пополнения своей коллекции. Виктор присылал из своих поездок яркие открытки – Берлин, Копенгаген, Лондон, Вена. Но, приезжая, он никогда не рассказывал о своих путешествиях и на все вопросы отвечал загадочной улыбкой.

Само собой, шаг от заброшенного ребенка до аутоканнибала был невелик, а еще меньше – от аутоканнибала до чуть повзрослевшего онаниста, беззаветно мастурбирующего шесть-семь раз на дню... Он мог бы превзойти этот рекорд, если бы не уроки и разного рода хобби, вынуждающие его иногда сделать паузу. Дрочильный марафон продолжался два года, с тринадцати лет, когда он открыл для себя ни с чем не сравнимую привлекательность этого занятия, до пятнадцати, пока кто-то из его ровесников – кто из этих, с двусложными именами – Рогер? Тумас? Стефан? – в общем, кто-то из них напугал его, что, дескать, постоянные семяизвержения могут привести к душевной болезни.

– Если все время дрочить, мозги повредишь, – изрек этот двусложный некто, когда они сидели в своей обители греха, закрытой для посторонних глаз комнатке на чердаке кунцельманновского дома, разложив перед собой с десяток порнографических журналов. – Каждый раз, как кончаешь, в мозгу прожигается дырочка. А как их будет побольше, так человек заболевает... это вроде бешенства. Ты поосторожней с этим, Йокке...

Преувеличение в его словах если и было, то небольшое, если вспомнить то количество психоделического белка, вызывающей бешенство семенной жидкости, фруктозы и прочих веществ, которые он извергал в то время из себя, как из рога изобилия.

На следующий день, сдавая багаж в окошке «Скайуэйз», рейс JZ 2924 из Висбю в Бромму, Иоаким все еще вспоминал о своем безудержном онанизме. И воспоминания эти, кстати, оттеснили другую, косвенно связанную с ними неприятную мысль. В памяти некстати выплыло эссе, начатое еще полгода назад, но тут же отложенное в долгий ящик, поскольку он, скрываясь от кредиторов, записался на военную службу. Надо закончить эссе как можно скорее, подумал он, эта работа, возможно, принесет мир его душе, поможет избавиться от чувства вины, подпитываемого детскими прегрешениями. Эссе называлось «Онанизм и ранний капитализм» и предназначалось для газеты «Поляна». Или, может быть, для другого, еще менее известного сконского журнала «Республика», где редактор, по его сведениям, питал известную слабость к альтернативной идейной истории в духе Фуко.

В общих чертах (кстати, главный тезис эссе Иоаким позаимствовал из статьи в «Экономисте») речь шла о том, что истинный, серьезный онанизм родился одновременно с капитализмом. До этого он был просто сексуальным времяпрепровождением, одним из многих, и воспринимался без всякого осуждения. Но сама суть онанизма, стоящего на трех китах: секретность, фантазия и ненасытность, – прекрасно укладывалась в три главных столпа капиталистической буржуазности девятнадцатого века: частная жизнь, скрытая от всевидящего ока государства и церкви, изобретательность промышленников и, наконец, слепая вера в неостановимый рост потребления, поднимающий прибыль игроков свободного рынка на доселе невиданную высоту. Короче говоря, ранний капитализм увидел в мастурбации собственное отражение и ужаснулся. Глубоко спрятанный стыд за собственную, отраженную в онанизме экономическую непорядочность вызвал к жизни гонения на самоудовлетворение по всей Европе.

– В проходе или у окна? – неожиданно прервала поток странных мыслей девушка в форме «Скайуэйз». Он огляделся. Оказывается, задумчивость помешала ему обнаружить (или быть обнаруженным ею) неверную Сесилию Хаммар... Уж не тем же рейсом она летит? Просто невероятно...

– В проходе! – твердо сказал он. Размышления о неоконченном эссе (или это было неосознанное, но каким-то образом ухваченное им присутствие Сесилии?) повели его совсем уж неожиданным путем: он начал размышлять о женщинах в мундирчиках с этими забавными пилотками, об этой девушке... Ему представилось, как он постепенно раздевает ее, снимает одну часть туалета за другой, пока не останется только пилотка и гигантская, характерная для большинства стюардесс грудь... И вот, в разреженном воздухе северной стратосферы он, почему-то в жестяной бочке с пропеллером, подлетает к этому огромному бюсту и вцепляется в него намертво...

Двадцать минут спустя он сидел в своем кресле у прохода в клаустрофобичном «фокере». Сесилия и в самом деле летела тем же рейсом, и летела она *не с ним*.

Она сидела впереди наискосок, в четырех рядах от него. И она была не одна. Рядом с ней был тип, которого Иоаким никогда раньше не видел. К тому же рука этого типа шарила по ее бедру.

Под прикрытием прихваченной в зале ожидания «Афтонбладет»¹⁹, открытой на развороте с материалом об артисте Торстене Флинке²⁰, он размышлял, какой шахматный ход мог бы помочь ему разрулить эту щекотливую ситуацию.

Конечно, по своей ревливой натуре Иоакиму впору было бы устроить сцену на высоте пять тысяч метров, но этому мешали два обстоятельства.

Обстоятельство первое: он был должен Сесилии Хаммар деньги, десять тысяч крон. Он занял их апрельским вечером в минуту вдохновения, с обещанием возратить не позже

¹⁹ «Афтонбладет» («Вечерний листок») – желтая газета, типичный таблоид.

²⁰ Торстен Флинк – известный в Швеции драматический актер со скандальной репутацией.

чем через неделю. Ему удалось отсрочить платеж с помощью тактических уловок в виде дорогих подарков – набор подсвечников от «Шведского олова», золотое кольцо с маленьким рубином от почтенного «Болинса», платье от «Берберри» из «НК»²¹. Стоимость этих даров намного превышала занятую сумму. Но он оплачивал их, дополнительно занимая деньги. И самый большой из этих вторичных займов, как он опасался, скоро будет востребован с помощью «торпед» из Сольны. Но Сесилию Хаммар умаслить было нелегко, она дала ему это понять, когда в конце мая поток подарков начал иссякать.

И второе, решающее обстоятельство: рука, шарившая у Сесилии под юбкой, была настолько убедительной, что могла бы принадлежать члену русской сборной по борьбе.

Перекрест зрительного нерва подвел итог: стокилограммовая гора мышц, перебитый нос, шея, напомнившая Иоакиму колоду для колки дров на Готланде, крашенные русые волосы – уголовная шевелюра, вызывающе контрастирующая с умеренными прическами соседствующих с ним бизнесменов.

Под мятым костюмом наверняка десяток тюремных наколок. Интересно, что делает утонченная, образованная, увлеченная искусством Сесилия Хаммар в обществе такого субъекта? На некоторые вопросы ответов просто-напросто не существует. Торстен Флинка в газете с его нахальной физиономией – того же борцовского поля ягода, подумал Иоаким, наклоня «Афтонбладет» под углом в тридцать градусов, чтобы сохранить инкогнито... но нет, не то, конечно, не то... что там Флинка! У этого и грудная клетка... такая грудная клетка могла бы, ей-богу, принадлежать Александру Карелину, семикратному победителю Тумаса Юханссона на чемпионатах мира.

Чтобы отвлечься, он сделал попытку углубиться в статью. Оказывается, Торстен Флинка – бунтарь и аутсайдер в постоянном конфликте с деградирующей культурой и средствами массовой информации. Это утверждение немедленно опровергалось фактом, что Флинка согласился дать интервью не кому-нибудь, а именно «Афтонбладет», причем между строк легко читалось, что он сам позвонил в редакцию, чтобы, как он выразился, «выговориться», то есть рассказать о своей жизни в непримиримой борьбе с деградацией культуры и средств массовой информации. Торстен Флинка был из тех актеров, что приводили Эрланда Рооса в восхищение по идеологическим причинам: Флинка был «левый», прожил тяжелую жизнь, а это, по мнению Эрланда, подчеркивало его «настоящность». По мнению же Иоакима, Флинка относился к категории... сейчас он сформулирует... вот: «ханжески заигрывающий с прессой психопат от культуры с умещающейся в наперсток самооценкой, из тех, что никогда не упускает случая выблевать свои личные проблемы на развороте желтой прессы, чтобы окончательно не погрязнуть в презрении к самому себе». Вот так, подумал он. «Торстен Флинки, Регины Лундинки²², брюнеты, шатены, блондинки», – бубнил он, словно мантру, пытаясь переварить разглагольствующую в четырех рядах от него омерзительную сцену.

О, эти людишки! Они выставляют напоказ дурные наклонности, наркоманию, алкоголизм, скандалы, беременности или (почему бы нет?) свою якобы фанатичную до невыносимости веру в Бога, а минутой спустя – бац! – они уже преследуемые, чуть не распинаемые, непонятые художники, ведущие яростную борьбу со скандальной прессой, в чей желтый пламень они сами годами подливали высокооктановый бензин! Они сами и есть живые символы этой ханжеской до мозга костей нации!

Недавно Иоаким со злорадным восторгом прочитал в одной вечерней газетенке следующие новости: 1) второразрядная принцесса шлягеров Лена Филипссон получила престиж-

²¹ «НК» – самый дорогой универсальный магазин Стокгольма.

²² Регина Лунд – шведская актриса, певица, поэтесса и автор текстов песен, очень часто появляется на радио и ТВ.

нейшую стипендию Повеля Рамеля²³, 2) пастор в евангельской церкви Троицы из деревушки Кнутбю жил сразу с двумя женщинами, причем в одном и том же доме, только на разных этажах (одна из них в конце концов убила соперницу) и 3) любимая команда его приятелей из средств массовой информации, футболисты «Хаммарбю ИФ», проиграли на выезде «ИФК Гётеборг», забив мяч в собственные ворота.

Все эти события подтолкнули его еще к одной формуле: «Швеция – географическая область на Скандинавском полуострове, где попсовые певички получают самые престижные культурные премии, где евангельская церковь способствует скорейшей деградации общества и где судьбу важнейших футбольных матчей решает гол в свои ворота». Анализ пугающий, но, как он считал, в высшей степени правдивый.

Пригибаясь за разворотом «Афтонбладет», Иоаким предпринял нечеловеческое усилие, чтобы расслышать, о чем Сесилия говорит с русским тяжеловесом, но слов так и не уловил... Только звуки, напоминающие кудахтанье призывающей петуха курицы. Он прекрасно знал, что означает этот звук: намерение заняться стопроцентно безответственным сексом.

За несколько месяцев до этого он и сам стал жертвой такого кудахтанья. Они встретились на вечеринке с глэггом²⁴, куда Иоакима пригласил знакомый в надежде, что бесплатная выпивка развеет его декабрьскую хандру.

Знакомый этот был редактором небольшого и очень критического по отношению к другим массмедиа журнала. По-видимому, его мучило чувство вины перед Иоакимом, поскольку он отказал ему в публикации трех статей подряд. Рассыпаясь в пространных и витиеватых извинениях, упомянув, в частности переизданную, эталонную работу Маршалла Маклюхана «Медиа», он представил его Сесилии. Парень точно знал, как искупить старую вину, – Сесилия, несмотря на строгие юбки и просторные блузки на завязках, оказалась самой настоящей дикаркой. К тому же она была лучезарно красива, наверное, самая красивая женщина из всех, когда-либо встреченных Иоакимом.

Вечеринку устраивал некий глянцевого журнала в бывшем цехе на Сёдермальме. Выпили глэгг, обменялись сплетнями... модный поэт, которому Иоаким патологически завидовал, прочитал свои стихи.

У Кунцельманна-младшего не было женщины уже четыре месяца, он сохранял свое либидо для цифровых красоток на сайте «sexxplanet.com». Поэтому в тот вечер обмен веществ в его организме полностью прекратился, уступив место свирепому шторму с участием всех известных науке мужских гормонов. Каков был спусковой механизм, трудно сказать – возможно, ее внешность училки, этакая суховатая похоть, сочетание очков, юбки и сетчатых колготок, напомнивших ему утреннее путешествие на вновь открытую планету, а точнее, на ее спутник, «MILF Teacher and her Pupils»²⁵, обнаруженный им, к своему удовольствию, под рубрикой «Mature in pantyhose»²⁶.

Поскольку большинство визитеров на интернетовских секс-сайтах, если верить статистике, составляют мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми, порнозвезды в категории «Mature» были старше тридцати, и это особенно привлекало Иоакима. А если войти в рубрику «Pantyhose» – и пожалуйста, все в колготках.

Редактор журнала по дизайну Сесилия Хаммар была невероятно похожа на виртуальную даму, облегчившую его страсть не далее как этим же утром. Настолько похожа, что Иоаким подумал: не клон ли это? Или еще того чище – это она и есть, с ее впечатляющим

²³ Повель Рамель (1922–2007) – шведский критик, композитор и пианист.

²⁴ Глэгг – традиционный рождественский горячий спиртной напиток, род глинтвейна с миндалем и изюмом.

²⁵ Учительница и ее ученики (англ.).

²⁶ Зрелые дамы в колготках (англ.).

искусством развращать юного, впрочем, довольно рослого и прекрасно оснащенного школьника в гимназической форме. Единственным способом установить истину было раздеть ее и по пути к сексуальной нирване первым делом проверить, не те же ли это, цвета шиповника, лепестки у входа во влагалище и нет ли у нее татуировки в виде паука *Latrodectus* прямо над идеально выбритой вульвой. После седьмой чашечки щедро сдобренного водкой глэгга он хотел было уже посвятить ее в свою забавную тайну, но удержался – из тактических соображений.

Он разработал долговременную стратегию, заключающуюся в инвестициях в ее всеобъемлющую тягу к шикарной жизни. Кокетничанье феминистскими построениями вроде теории подчинения и распределения половой власти было отнюдь не в духе Сесилии Хаммар; он понял это, пока они болтали за столиком с глэггом. «О чем я мечтаю, так это о богатом мужчине, который бы меня баловал», – заявила она. Все вокруг засмеялись удачной шутке, но Иоаким-то знал, что это никакая не шутка. Для начала он предпринял тактический маневр – пригласил ее вместе с редактором в «Кафе-Опера», соврав, что продал большую серию статей в некую газету, чей щедрый гонорар позволяет ему отметить этот успех шампанским. Старый трюк сработал – уже в такси по дороге в Кунгстредгорден они с Сесилией затеяли замысловатый флирт ногами.

Весь вечер до закрытия кафе он щедро швырялся деньгами – восемь тысяч крон, – взятыми в кредит в каком-то немецком банке-высочке, не позаботившемся навести справки о платежеспособности клиента по имени Иоаким Кунцельманн. Когда редактор в конце концов уснул в кожаном кресле, все пути были открыты – в половине второго ночи они уже сидели в такси по пути к нему домой.

Для начала Сесилия Хаммар удивила его, отказавшись от портвейна (Квинта до Новаль-86, 900 крон бутылка). Она немедленно освободилась от всего текстиля, покидав его в живописную кучу на коровьей шкуре в гостиной, вульгарно облизнулась в бордельной подсветке от скрытой в стеклянном шкафу лампочки и, бросая на него явно позаимствованные из порнофильма взгляды, нежно сообщила, что она законченная блядь. Без одежды она оказалась пухлее, чем он себе нафантазировал, но после четырех месяцев воздержания ему было на это наплевать... Наплевать и на выпивку, которой он поначалу решил себя подкрепить, наплевать и на презервативы марки «Хо-Сан», стратегически помещенные под салфеткой в баре. Наплевать и на любимый, специально предназначенный для подобных случаев компакт-диск с записью сладкого хита слепого Андреа Бочелли. Вместо всех этих приготовлений он представил себя в роли мальчика-переростка в школьной форме... и вот нахальная училка, ухватившись проверенным приемом за скромный форменный галстук, валит его на дорогой английский диван, купленный в кредит.

Сесилия Хаммар каким-то образом вызвала в его сознании все эти порноклише... А похотливая самка в обличье учительницы должна подвергнуться наказанию – в соответствии с современной учебной программой. Она же нарушает профессиональный этический кодекс – разве позволено распалившимся училкам вытворять такое со своими учениками?

Она, издав шаловливый стон и, к его немереному восторгу, не сняв очки, встала перед ним на четвереньки, и ягодицы слегка распались, как половинки спелого фрукта. На него ободряюще глянул подведенный смуглыми тенями глазок. Он медленно ввел туда большой палец, будучи почему-то уверенным, что этот веселый глазок подмигивал ему именно с целью внести такое предложение. И уж вовсе не сомневался, что Сесилия отнесется к его действиям с искренним одобрением...

После этого вечера они встречались более или менее регулярно. Сесилия никогда не показывала, что понимает его экономические сложности. Возможно, она принимала его за преуспевающего журналиста и богатого наследника, за которого он себя выдавал и которым, по сути дела, являлся: рано или поздно состояние Виктора должно было перебраться к нему.

А куда расходы на Сесилию стоили каждой кроны. Они проводили выходные в шикарных пансионатах в Сандхамне и Смодаларо, в апартаментах «Шератона» и «Гранд-отеля». Они ужинали в дорогих ресторанах как минимум дважды в неделю и заканчивали вечер в гурме-клубах на Стуреplane, где Сесилия методично осваивала меню коктейль-бара и настаивала на устрицах – самая подходящая ночная еда, как она утверждала.

Все эти расходы покрывались за счет новых займов. Его платежеспособность в нескольких новых, только что появившихся банках («Икано», «Кауптинг», «Флексиль Финанс») почему-то не подвергали сомнению... да если бы и подвергали, в его эротическом раю места для экономических расчетов просто не оставалось.

Пробуждение в объятиях незнакомой женщины вызвало обычный приступ экзистенциального ужаса, но ужас этот, по крайней мере, не сопровождался СПИД-паранойей, что было бы вполне объяснимо после эротического приключения без мелкобуржуазного, но все-таки надежного резинового «Хо-Сана». К тому же количество выпитого им накануне спиртного было бы уместно разве что где-нибудь за Уралом. Никаких воображаемых первичных очагов, никакого разглядывания языка перед зеркалом в ванной, никакого панического узнавания первых симптомов вирусной инфекции. Ни простуды, ни лихорадки, ни увеличенных лимфоузлов. Только благодарность и предвкушение новой встречи с этой посланной свыше порноучилкой.

Никогда у него не было любовницы лучше Сесилии. В ее сексуальной бесшабашности угадывалась железная воля рекордсменки. На каждое новое свидание он приходил вооруженный до зубов идеями, почерпнутыми на эротическом небесном теле «sexxplanet.com», с намерением еще раз подтвердить догадку, что у Сесилии нет пробелов в сексуальной подготовке. И не было ни одного выверта, ни одного нюанса разврата, который не был бы ей знаком и который она не соглашалась бы с удовольствием проверить на практике. На его вновь открытой планете, посещаемой им практически каждое утро, было все, о чем может мечтать истинный ценитель, и Сесилия, этот очкастый ангел, воплощала мечты в действительность.

Новый поисковый механизм на сайте помог ему еще глубже погрузиться в райские загадки. Например, в ответ на набранные ключевые слова «*зрелость плюс Кения плюс оральный плюс джунгли*» он получил, как ни удивительно, прелестную, полноценную, на 520 килобайт, картинку, представляющую средних лет кенианку, вдохновенно исполняющую отсос чем-то похожему на Иоакима парню на фоне роскошного девственного леса в парке Серенгети. Этот сайт был просто-напросто золотой жилой. Он каким-то образом активировал неизвестный поисковый мотор и мгновенно закачивал бесплатные эротические звенья со всех концов бескрайнего киберпространства. А может быть, это была какая-то молниеносная функция фотошопа, связывающая воедино тысячи извращенных цифровых фантазий в готовый монтаж. Богам этой планеты было доступно все, и ни одна из идей, которые он свеженькими доносил до Сесилии Хаммар, не была встречена непониманием. Тут же делалась попытка проверить теорию практикой.

Самолет начал снижаться. На высоте две тысячи метров Иоаким лихорадочно листал газету, лишь бы не глядеть на художественно-страдальческую физиономию Торстена Флинка. Пилот напомнил о себе голосом в репродукторе – что-то там насчет погоды и еще какие-то никому не нужные навигационные подробности. А в четырех рядах впереди Сесилия Хаммар повысила голос, чтобы перекрыть информацию о направлении ветра в Бромме, турбулентности и температуре воздуха в аэропорту. Он прятался за мерзкой стайкой про суд в Кнутбю, но небольшая стайка слов все же долетела до его ушей: «...это недалеко от Кнусмюнтагорден... или как он там называется, этот похожий на саванну мыс в Югарне... О, как здорово, я бы с удовольствием попробовала...»

Стюардесса принесла кофе и черствые миндальные печенья. На этой линии, Висбю – Стокгольм, никакой конкуренции, подумал Иоаким. Скоро начнут подавать заплесневелые сухари с балтийской водой, и все равно пассажирам деваться некуда, будут летать.

Удерживая газету на высоте глаз, он вступил в короткую борьбу с соседом за минимальное жизненное пространство, необходимое, чтобы поднести чашку ко рту.

– Превосходно! – услышал он голос Сесилии Хаммар. – Я просто рассчитываю на это! Это будет прекрасный вечер!

Иоакиму очень хотелось потребовать от нее объяснений, но пока он решил воздержаться.

Не так давно, в конце марта, она пригласила его к родителям матери в Норрчёпинг на седе²⁷. Сесилия Хаммар была еврейка, а поскольку Иоаким во время своих блужданий по «sexplanet.com» узнал, что этнос может сообщать сексу ни с чем не сравнимую пряность, то предложение он принял.

Сесилия была безбожница до мозга костей, но большие религиозные праздники соблюдала – древний рефлекс, унаследованный с кровью. Иоаким наслаждался четырехтысячелетней ближневосточной аурой, окружавшей его вполне современную Юдифь, запахом благовоний от ее волос, ее внешностью наложницы вавилонского гарема. Он просто задрожал от восторга, когда она в споре с патриархальным дедом вставила пару слов на идиш. Он с удовольствием поедал восточноевропейские лакомства... К тому же его по-настоящему волновал обязательный ритуал седера с крутыми яйцами, мацой и хреном. Запасная кипа, предусмотрительно захваченная родственником из Умео и нахлобученная ему на голову, едва он успел переступить порог, придавала событию экзотический, даже таинственный характер, что он тоже с благодарностью записал на счет Сесилии. Малопонятные молитвы на иврите почему-то возбудили в нем острое желание, и он набросился на Сесилию, не успели они переступить порог купе, на обратном пути. Даже кипу не снял.

А сейчас, три месяца спустя, она встала и направилась в туалет в хвосте самолета с такой непринужденностью, словно состояла членом элитного воздушного клуба. Ему страшно хотелось выяснить, в чем дело, и немедленно, в ближайшие две минуты, стать членом этого ордена похоти, где Сесилия Хаммар была почетным церемониймейстером. Если не выйдет, умру, подумал он.

Карелин засмеялся и шутливо дернул ее за юбку. Она, хихикнув, освободилась от этого уголовного типа. И чтобы не быть узнанным, Иоаким прикрыл лицо газетой с крупным планом пастора-убийцы Хельге Фоссмо и откинулся в кресле, изображая утомленного бизнесмена, позволившего себе несколько минут сна между двумя важнейшими деловыми встречами в быстроразвивающемся регионе Балтийского моря.

Через пять минут он понял, что она возвращается на место – ее духи «Кензо» буквально взорвались у него в голове. И взгляд его был, по всей видимости, настолько отчаянным, что она почувствовала, как кто-то за ней наблюдает, и повернула голову. Он едва успел закрыться все тем же негодяем Хельге из Кнутбю и притворился спящим.

Но на том его испытания в этот нелепый день не кончились. Невесть откуда появилась стюардесса с грохочущим вагончиком и наклеенной улыбкой и взяла его за руку.

– Не могли бы вы поднять кресло и закрыть столик? – сказала она. – Мы заходим на посадку.

Иоаким кожей чувствовал, что именно в этот миг Сесилия Хаммар смотрит в его сторону. Она была очень любопытна, особенно когда в дурацкое положение попадал кто-то другой, поэтому он сделал вид, что не слышал замечания.

– Не могли бы вы поднять кресло? – повторила стюардесса. – Мы садимся!

²⁷ Седер – в иудаизме: праздничная трапеза в последний день Пасхи.

– Я сплю! – квакнул он из-под газеты.

Назойливая блондинка ему не поверила.

– К сожалению, я вынуждена настаивать, чтобы вы подняли кресло и пристегнули ремни. Мы идем на посадку.

Он не пошевелился. Выдать себя Сесилии было выше его сил.

– Я прошу вас соблюдать правила безопасности!

Ситуация явно выходила из-под контроля. Стюардесса взяла его за руку. Все пять чувств, обостренных унижениями последних месяцев, подсказали ему, что чуть ли не все пассажиры смотрят на него. Несколько дам за спиной вполголоса обсуждали его поведение.

Одной рукой он прижал к физиономии «Афтонбладет», а другой попытался нащупать откидной столик. Из репродукторов послышался звоночек, призывающий экипаж занять свои места.

– Справлюсь сам, – прошипел Иоаким, не убирая газету. – Идите и делайте свое дело, а я приготавлиюсь к посадке.

Одна рука по-прежнему удерживала у лица газету с портретом преступного пастора Хельге Фоссмо, а другая... другая вряд ли сама понимала, чем занимается, скорее всего, пыталась нащупать кнопку приведения кресла в вертикальное положение, но вместо этого ухватила соседа за галстук. Растерянная стюардесса со страхом смотрела на сумасшедшего пассажира, откинувшего под углом в сорок пять градусов голову и скрывающего лицо под вечерним номером «Афтонбладет», где, кстати, есть очень интересное интервью с Торстеном Флинком. Пьяный? Может быть... Ведет себя загадочно? Еще как! Согласно новым правилам безопасности, введенным после одиннадцатого сентября, она обязана вмешаться. В таких случаях рекомендовано прибегнуть к помощи пассажиров, желательно крепких и тренированных мужчин... к примеру, вон тот, в мятом костюме, в третьем ряду... Ну наконец... спинка кресла поднялась, и предположительно пьяный пассажир чуть не потерял свою отпечатанную в типографии «Шибстедтс» цветную венецианскую маску.

Самолет резко накренился, уходя из зоны турбулентности, и несговорчивого пассажира спасло от окончательного конфуза только то, что он судорожно вцепился свободной рукой в сиденье кресла. Он по-прежнему пытался застегнуть ремни безопасности, но для этого требовалось участие обеих рук, а опустить газету он не хотел, боясь, что его заметит неверная Сесилия.

– Можете мне помочь застегнуть ремни? – прошипел он стюардессе.

– Вы и сами справитесь, если дадите мне подержать газету.

Наша культура деградирует, подумал Иоаким. Все на это указывает – размытая мораль, никуда не годная литература... В искусстве властвуют позорные реалити-шоу. Евангельский пастор – убийца. Принцессы крутят романы с владельцами фитнес-клубов. Газеты просто невозможно читать, а стюардессы забыли, что их главная обязанность – помогать пассажирам.

У него вдруг возникло почти непреодолимое желание швырнуть газету в лицо стюардессе и удрать в туалет. Там, в облаке запахов, оставленных Сесилией Хаммар, он мог бы самоудовлетвориться над крошечной стальной раковинкой, вспоминая их первые объятия на его английском диване... а потом выкурить сигарету, пока не сработает пожарная тревога, а потом самолет приземлится в Броне. И плевать, что его уведут в наручниках.

– Оставь меня в покое! – тем же свистящим шепотом сказал он стюардессе. – Если хочешь, чтобы пассажиры были пристегнуты, возьми и пристегни их сама... Это не я придумал ваши дурацкие правила...

К его удивлению, стюардесса с помощью хорошо воспитанного соседа в галстук все же застегнула его ремни. Пока они возились с замком, у него внезапно возникло видение: он и Сесилия в недавно купленном доме на Готланде, у нее на руках малыш, мальчик, неве-

роятно похожий на Виктора, а сам он счастливо улыбается, у него нет долгов, а на голове – та самая запасная кипа, бело-голубая, как флаг государства Израиль.

Я должен ее вернуть, решил он. Последнее слово в комедии не останется за этим уголовником с рукой на ее ляжке. Любой ценой я верну ее, эту шалаву. Сейчас я нищий, но вот продам хотя бы пару гениальных картин моего покойного отца, и снова на коне, и она получит все, что захочет!

«Фоккер» вздрогнул, коснувшись колесами посадочной полосы. Продолжая прятать лицо под фотографией распутного пастора-убийцы из Кнутбю, он считал секунды, пока подкатят трап. Его хорошо воспитанный, а может, просто перепуганный насмерть сосед терпеливо ждал, пока салон опустеет. Тогда он похлопал Иоакима по плечу – все, можно больше не прятаться. Сесилия исчезла в зале прилета, так и не раскрыв его импровизированного инкогнито.

Все же удача не совсем отвернулась от него. Он договорился с водителем такси, что тот остановит машину, когда на счетчике выскочит сто шестьдесят крон – ровно столько, сколько было у него в кармане, причем мелочью. Роковая цифра появилась в пятидесяти метрах от дома. В этом-то и заключалась удача, потому что у подъезда маячили два здоровенных бородатых мужика, опираясь на свои мотоциклы.

Он проскользнул за угол и пошел по асфальтовой тропинке вдоль дома. Как он и надеялся, окно в прачечную было открыто. Он тихо спустился на гладильную машину, приоткрыл дверь – никого. Иоаким вышел на площадку первого этажа и вызвал лифт.

Тело его действовало словно бы независимо: он, например, с удивлением увидел свой указательный палец, нажимающий кнопку четвертого этажа, хотя квартира его была на третьем. Его наивное сознание никак не могло примириться с мыслью, что кто-то хочет ему зла, но тело предусмотрительно действовало в соответствии с инстинктом самосохранения. Оно, то есть тело, неслышно соскользнуло на один марш лестницы, пригнулось за решеткой и осторожно посмотрело вниз, чтобы убедиться, не дежурит ли на площадке еще один бородатый монстр. Там никого не было.

На полу в прихожей громоздился сугроб крайне агрессивных писем. Он с дрожью перешагнул его и двинулся дальше, оглядывая по пути руины своей холостяцкой жизни. Пустые картонки из-под вина рассекали акваторию архипелага, образованного кучами грязного белья, там и тут валяющегося на полу. Книги из университетской библиотеки, которые надо было вернуть еще в прошлом тысячелетии, мусор, танцующие комки пыли, похожие на крошечные перекасти-поле... напоминание о многих годах в осаде одиночества, о его безудержном падении...

Выглянув в окно, он убедился, что типы с мотоциклами никуда не делись. Они мрачно молчали и курили, время от времени оглядываясь – не появится ли на улице тот, кто сейчас наблюдает за ними из-за дорогих тонких штор с десятиметровой высоты?

На журнальном столике злобно мигал автоответчик, красный глазок напомнил ему рубильник электрического стула. Он нажал кнопку.

– Привет, – весело сказал голос, принадлежащий Андерсу Сервину, его сокурснику и последнему другу в этом мире – Иоаким пока еще не успел занять у него деньги. – Хотел узнать, в городе ли ты или уже уехал на Готланд. Позвони, надо обсудить возможную работенку...

Интересно, что это за «работенка»? Иоаким примерно представлял себе, о чем идет речь. «Продакшнс АБ» была компанией, близко связанной со «Стрикс ТВ» – они нашли нишу в виде нового формата псевдодокументального мыла для следующего поколения. Предприятие, где Андерс был совладельцем, выдумывало соревнования для экстремалов, в общем, для тех, кто не задумываясь мог в прямой трансляции всадить нож в соперника,

если бы это принесло ему даже минимальную выгоду: просто-напросто психи, материал для планомерного унижения публики в лучшее экранное время. В основе одного из проектов компании была идея снимать круглые сутки неблагополучные семьи, обеспечив им свободный доступ к спиртному. Еще одна идея: собрать на острове в стокегольском архипелаге несколько человек с синдромом Аспергера²⁸ и посмотреть, что из этого получится.

С полгода назад Иоаким даже участвовал в их совещании – его подвигла на это надежда отыскать нового кредитора. О какой-либо морали говорить в этих стенах было просто смешно, и он быстренько придумал полубезумный проект: свезти на остров Робинзона бывших заключенных Кумлы²⁹. Первым призом в соревнованиях различного рода будет машина инкассатора с миллионом крон. Победитель получит немного динамита, чтобы взорвать сейф в машине. Он тут же и название придумал – «Друзья Робинзона». А в качестве ведущего предложил режиссера и драматурга Ларса Нурена, известного, в частности, тем, что для своих театральных постановок он привлекал профессиональных уголовников. К его несказанному удивлению, идея, родившаяся под парами полбутылки представительского виски, встретила бурное одобрение, за исключением разве что кандидатуры Ларса Нурена. Его решили заменить на известного специалиста по ограблению банков по имени Лиам Норберг. Один из дизайнеров немедленно уселся за компьютер набрасывать правила соревнований.

– Старик, у тебя настоящий талант, – сказал ему Андерс Сервин, когда они всей компанией отправились в «Театр-гриль» потусоваться в компании таких же, если не более аморальных, коллег из журналистского корпуса. Насколько Иоаким понял, в словах Андерса не было ни малейшей иронии. – Ты мыслишь правильно, хотя пока еще плохо представляешь себе лимиты жанра. В нашей отрасли мы должны планировать границы дозволенного, то есть каждый раз начинать с рубежа бесстыжности, достигнутого предыдущим шоу. И дальше развивать успех, не слишком медленно, но и не слишком быстро. Нет такой бездны, куда не свалился бы человек, если дать ему время по привыкнуть и шанс разбогатеть...

Иоакима неприятно кольнула мысль, что, если бы не смерть Виктора сутки назад, он наверняка согласился бы на любое грязное предложение Андерса.

Таким образом, коллекция картин спасла его от моральной пропасти.

Он снял автоответчик с паузы.

– Это Свен-Улуф Валлин! – прорычал голос, который когда-то, пока Иоаким таскал его обладателя по дорогим кабакам, был образцом дружелюбия. – Я насчет моих двадцати тысяч...

Он прослушал еще не меньше дюжины тревожных сообщений с флангов экономических боев, прежде чем услышал успокоительный голос Эрлинга Момсена. Облагороженный фрейдянским терпением голос все понимающего опытного психолога, который даже требование о возврате денег облек в насквозь психотерапевтическую форму:

– Привет, Йокке! Думаю, что твоя неспособность заплатить долги зависит как раз от того фактора, который мы упоминали в последней беседе. Ты восстаешь против обязывающей функции подсознательного, против голоса так называемой совести, он для тебя ассоциируется с голосом умершей матери. Приходи на прием, когда захочешь... очень важно, чтобы чувство вины не взяло верх... и мы можем вместе разработать план выплаты твоего долга, а заодно поговорим и о злоупотреблении порнографией.

Если бы мы жили в справедливом мире, подумал Иоаким, автоответчик был бы переполнен соболезнованиями по поводу кончины отца. Оттуда лились бы голоса, полные понимания и сочувствия, надломленные горем... или хотя бы одухотворенное молчание, когда

²⁸ Синдром Аспергера – одно из пяти общих нарушений развития, иногда называемое формой высокофункционального аутизма. Больные с синдромом Аспергера обладают как минимум нормальным либо высоким интеллектом, но нестандартными или слабо развитыми социальными навыками.

²⁹ Кумла – исправительный лагерь для особо опасных преступников в Центральной Швеции.

у сочувствующего вроде бы не хватает слов, чтобы выразить свою печаль... Но даже собственная сестра не озаботилась ему позвонить.

На ленте осталось только одно сообщение – от Луизы; она интересовалась, не сохранились ли у него фотографии их поездки во Францию десять лет назад.

– Я хочу показать их Винсенту. Мы читаем сказку, а дело происходит в Париже... Позвони, когда получишь это сообщение.

Четверть часа спустя, стоя голым перед зеркалом в ванной, Иоаким подумал, что похож на сексуального маньяка в розыске: прямо на физиономии отпечатались черные газетные буквы, а разводы типографской краски на лбу явно напоминали нос преступного пастора Хельге Фоссмо. Смывая под душем воспоминания о пережитых унижениях, он размышлял, что сказать бывшей жене. Ему нужны были деньги на авиабилет в Фалькенберг и еще хотя бы тысячу на непредвиденные расходы. Может быть, Луиза согласится дать ему денег – в обмен, так сказать, на парижские фотографии?

Гардероб выглядел так, словно там разорвалась граната. Все же ему удалось найти немного марокканского хаша в кармане куртки от Пола Смита. Он свернул себе джойнт и начал разыскивать снимки в битком набитых картонных коробках. Поиски заняли немислимо много времени. Резиновые нити ассоциаций все время отвлекали его от поисков. Сувенирный коралл... открытка без обратного адреса, бог бы с ней, но яркая картинка (заход солнца на Средиземном море) оказалась настоящей психоделической бомбой: она вызывала поток мыслей, ничего общего с действительностью не имеющих... Наконец фотографии нашлись. Набирая номер бывшей жены и преисполняясь глубокой благодарности «Телии»³⁰, что она, несмотря на многомесячную неуплату, все же не отключила телефон, Иоаким вдруг понял, что немного перебрал с хашем. На счастье, Луиза голосом автоответчика сообщила, что она в саду.

Он выглянул в окно – ничего утешительного: мотоциклисты на месте. Один листал вечернюю газету, другой закурил сигарету. Время словно бы не двигалось. Сколько они уже здесь стоят? А может быть, они просто живут где-то поблизости... или ждут какую-нибудь не менее мускулистую даму, почему-то забредшую в их дом?

Он подошел к окну, выходящему во двор, и увидел нечто, что мигом развеяло не только всю дурь от каннабиса³¹, но и слабую надежду, что мотоциклисты дежурят у его подъезда по каким-то еще, не имеющим к нему отношения причинам. Мало того что третий субъект занял пост у задней двери, он к тому же наблюдал и за открытым окном в прачечную, тем самым, через которое Иоаким недавно проник в дом.

В куче грязного белья на полу он раскопал две великолепные шелковые простыни – они когда-то стояли в «НК» целое состояние – и связал их между собой. После чего надел короткую кожаную куртку (тоже Пол Смит) и альпинистские ботинки, приобретенные для поездки на горнолыжный курорт с Сесилией Хаммар, – и покинул квартиру.

Он поднялся по лестнице на последний этаж, открыл дверь универсальным ключом³² и оказался на пропахшем плесенью чердаке. Его удивила странная тишина – не было слышно ровным счетом ничего, кроме слабого шума ветра. Здесь был иной, девственный мир, где его проблемы просто не существовали.

Пройдя метров двадцать пять, Иоаким открыл еще одну дверь и оказался на лестничной площадке верхнего этажа соседнего дома. Чуть поодаль была лоджия общего пользования, используемая главным образом как курилка.

³⁰ «Телия» – крупнейший в Швеции телекоммуникационный оператор.

³¹ Канна бис (лат. *Cannabis*) – латинское название конопли.

³² Универсальный ключ – в многоквартирном доме жильцы имеют ключ ко всем местам общего пользования – кладовые, прачечная, комната для мусора и т. д.

Он осторожно выглянул на улицу – никого; окружить квартал коварные сборщики налогов еще не успели. Он привязал конец простыни к стойке балкона и опустил вниз ниточку, на которой в буквальном смысле висела его жизнь. Пары метров не хватало, но конец успокоительно покачивался над кустом рододендрона.

Под воздействием каннабиса он вдруг осознал весь комизм своего положения и, спускаясь по импровизированной веревочной лестнице, начал неудержимо хохотать. Надо бы почаще курить хаш, сказал он себе, тогда легче примириться с миром. Можно посмеяться над неудачами, над страхом встречи с бородатыми бандитами, над нищетой, над тем, что он висит на простыне в десяти метрах над землей, над странной смертью бедняги Виктора от отравления (что, не мог, как все порядочные старцы, умереть от инфаркта или рака предстательной железы?), над отсутствием вкуса у Сесилии Хаммар (что это за борцовскоуголовный тип?), над унижительным выклянчиванием денег у бывшей жены, над тем парнем с собакой, что смотрит на него и размышляет, не позвонить ли полиции (кто это? взломщик?... или кино снимают?)... можно посмеяться над его собакой, удивленной не меньше, чем хозяин, над этой забавной семьей в окошке – мама, папа, младенец, – мимо чьего кухонного окна он только что проскользнул, словно цирковой гимнаст на трапеции, возвращающийся из-под купола после исполнения особо опасного трюка, без лонжи и сетки... они смотрели на него разинув рты, как выброшенные на берег рыбы... А чем не повод для смеха, что в какой-то момент, вопреки здравому смыслу, совершенно поглощенный трагикомедией своей жизни, Иоаким решил помахать рукой этой идиллической семейке и, разумеется, тут же грохнулся, воя от восторга, с четырех метров в далеко не такой гостеприимный, каким казался сверху, куст рододендрона. Просто сдохнуть со смеху над этой кунцельманновской жизнью... Бастер Китон³³, да и только!

Остекленная дверь подъезда в доме Луизы в Старом Эншеде отразила вовсе не того человека, каким ему хотелось бы предстать перед бывшей женой. Правая брючина разорвана, куртка в земле, засохшая кровь на лице. Правая щиколотка болела – чем дальше, тем хуже.

Маленький Винсент, которому только что исполнилось пять лет, открыл дверь, даже не пытаясь скрыть враждебности – к чужакам вообще, а к этому конкретному чужаку в особенности.

– У тебя кровь на носу, – сказал он.

– Я знаю. Слезал с балкона и поранился. А мама дома?

Иоаким соорудил на лице некое подобие всепонимающей взрослой улыбки. Но ребенок на него даже не поглядел – развернулся на каблуках и ушел в дом, разочарованно шаркая ногами.

Из двери пахло семейным счастьем – свежее испеченный хлеб, только что вымытые полы, детский шампунь... очень много любви на квадратный метр. Оказывается, юг Стокгольма купался в лучах какого-то другого солнца, случайно забредшего из иных, неизвестных ему измерений. Запах гриля из сада, детский смех... женщина, которую он когда-то любил и на которой был женат, встретила его в прихожей, оборудованной в индийском стиле.

– Что случилось? – спросила она. – Ты пьян?

Следуя своему правилу, что правда – не что иное, как семантический компромисс между двумя не желающими ссориться людьми, он отверг ее версию.

– Что произошло? У тебя все лицо в крови!

– Упал в кусты... Пожалуйста, не надо, объясню в другой раз.

³³ *Бастер Китон* (Buster Keaton, 1896–1966), настоящее имя – Джозеф Фрэнсис, выдающийся комический актер и режиссер немого кино.

– О'кей, – сказала Луиза. – Заходи. Кстати, насчет кустов – я как раз вожусь в саду. Фотографии захватил?

В незапамятные времена, когда двадцатичетырехлетний Иоаким приехал в Стокгольм учиться на литературо-и киноведа, вид этой женщины приводил его в транс, из которого он вышел, только женившись на ней и систематически обманывая ее восемь долгих лет. Он даже не был уверен, что его чувства к ней можно назвать любовью. Скорее она была для него своего рода лекарством, он принимал этот препарат от одиночества, принимал профилактически, не думая о тяжелых побочных эффектах... а потом пытался эти побочные эффекты лечить тем же способом.

Они встретились в старом добром ресторанчике «Тимс» на Тиммермансгатан, где она отмечала с приятелями сданный экзамен. Разогретый приличной выпивкой, слегка покачиваясь, Иоаким подошел к бару, где она стояла с двумя подругами. Оказалось, они земляки – она тоже из Халланда, даже из того же города, что и он. И он никак не мог уразуметь, как это он ничего о ней не слышал и почему они никогда не встречались. Луиза выросла в семье миссионеров, они по полгода проводили в страдающих от эпидемий африканских странах, меняющих название с каждым новым диктатором. Она училась в интернациональных школах за границей, а в те редкие периоды, когда родители возвращались в Фалькенберг, занималась дома. В семнадцать лет ей надоела кочевая жизнь, и она упростила родителей отпустить ее в школу-интернат под Стокгольмом.

И сейчас, когда Иоаким увидел, как покачивается ее зад, облаченный в мешковатые плотничьи штаны, ему показалось, что их развод был ошибкой. Они должны были остаться вместе. И это у них должен был расти мальчик, копия Винсента, и это они ездили бы по чартеру раз в году, раз в пять лет меняли бы мягкую мебель из «ИКЕА» на такую же, играли в гольф, читали «Красивый дом», говорили о воспитании детей. Следили бы за калориями. Иногда, при благоприятном расположении планет, занимались бы сексом... Препирались бы, кому на этот раз вести машину после вечеринки у друзей с такой же мебелью и такими же клюшками для гольфа.

В крошечной кухне на него со всех сторон напирало семейное счастье. Детские рисунки на стенах – дикие эксперименты с центральной перспективой, изображения мамы и Винсента, а также папы Леонарда, который после года не особо мирного сосуществования с Луизой сбежал к своей первой жене в Мальмё.

На столе разложен детский пазл с диснеевским мотивом, на полке, пристально уставившись на Иоакима, сидит плюшевый зверь с антропоморфной ухмылкой. В духовке поспевает пара дюжин коричневых булочек, их аромат прочно ассоциируется с семейной идиллией... И он мог бы так жить, если бы природа не создала его таким идиотом.

– А негативы тоже захватил? – спросила Луиза, вынимая противень с булочками и ставя новый. – Я хотела бы сделать копии.

– Конечно! – Иоаким потряс конвертом из фотолаборатории.

– Смешно... Мы сейчас читаем сказку, и действие разворачивается как раз в том квартале, где мы жили, помнишь? Хорошая была поездка...

У Луизы была на редкость избирательная память. Только благодаря этому свойству она вообще позволяла ему переступить порог ее дома. Мало этого, если бы не избирательность памяти, она бы вряд ли выдержала его почти десять лет. Иоаким, например, вспоминал эту поездку в Париж как непрерывную цепь бессмысленных ссор и ритуальных постельных примирений в отеле, готовом к сносу, с тараканами такой величины, что уборщица в панике убежала куда глаза глядят, с обязательными экскурсиями в Лувр и на Эйфелеву башню. Скучные вечера в дешевом североафриканском ресторане, насквозь провонявшем чесноком и фритюром, четырнадцать вечеров с дешевым красным вином, кошмарным похмельем...

Все это кончилось тем, что Луиза уехала домой, не дождавшись чартера, после грандиозной ссоры, причины которой он вспомнить не мог.

– Как с писательством? – спросила она, перебирая фотографии. – Статьи для газет?

– Не жалуюсь. С замыслами, по крайней мере, все нормально. Только сегодня, кстати, мне пришла в голову мысль провести журналистское расследование, как в Швеции работают коллекторы... Какими методами они вышибают долги из неплательщиков. В этой, знаешь ли, исторической перспективе... начиная с наемников Густава Васы, сшибающих колокола с деревенских церквей, до «Фактаб Финанс» и мафиозных банд байкеров вроде «Хелл Энджелс».

– Тебе булок не дадут, потому что ты дурак, – философски заметил Винсент, слизывая с палочки эскимо. Он смотрел на Иоакима со странной смесью ненависти и презрения. Что именно преобладало, Иоаким так и не понял.

– Булочки еще не готовы, дорогой. – Луиза улыбнулась всепрощающей материнской улыбкой, что спасло Иоакима от дальнейшего углубления в придуманную под действием хаша версию о многовековой истории шведских торпед. – Винсент немножко болел – простудился, пока был у отца. Вы же были в «Тиволи» в Копенгагене, я правильно поняла, малыш?

– Этот кровавый тип булок не получит, – упрямо сказал Винсент.

Иоакима это высказывание несколько не удивило.

– Как у вас тут хорошо, – сменил он тему. – Может быть, сдашь комнатку бедному бывшему мужу? Моя квартира мне, похоже, не по средствам, к тому же я купил дачу на Готланде, вернее сказать, не дачу, а хуторок, и за него тоже надо платить... К тому же это за мной, а не за кем-то еще начнут охотиться «Хелл Энджелс», если я сокращу ежемесячные выплаты.

Он принужденно засмеялся, дабы убедить жену, что это всего лишь невинная шутка, вполне уместная между бывшими супругами. Но Луиза к шуткам расположена не была:

– Я живу одна, и так и будет в дальнейшем. Мне не везет с мужчинами, Иоаким. И ты тому живой пример. Я не хочу тебя обидеть... Но меньше всего мне хотелось бы делить жилье именно с тобой.

– Я же пошутил!

– Смешно, – сказала Луиза без улыбки. – Но я-то не шучу. Поразительно, на то, чтобы понять, что мне лучше всего с самой собой, ушло десять лет. Знаешь, когда я искала дом, я поставила целью найти что-то в этом духе. Небольшая жилая площадь, но большой сад. В моей спальне наверху умещается только односпальная кровать. Маклер говорил, что это единственный недостаток, все остальное замечательно – гостиная, кухня и спальня внизу. Но как раз именно та крошечная комнатка мне больше всего и понравилась. Здесь уместится только односпальная кровать, подумала я, а детская будет внизу, в комнате побольше. Не сомневайся, Луиза, сказала я себе. Это как раз то, что тебе нужно!

Внезапный вопль Винсента помешал нежелательному развитию беседы. Ребенок вставил между щек палочку от мороженого, отчего сделался похожим на лягушку, и никак не мог ее вынуть. Пока Луиза занималась ортодонтологическими проблемами сына, Иоаким попытался представить, как выглядит ее грудь под блузкой. Он не видел ее голой уже лет шесть... наверняка тяжелая беременность и роды мало что оставили от природной красоты ее тела, не говоря уж о пролетевшем времени... Он попытался вызвать в памяти какие-то чувственные эпизоды с ее участием, но ничего не приходило в голову. Единственное, что ему удалось вспомнить с легким содроганием, как он когда-то практиковал семяизвержение на эту самую грудь – и то чаще в отчаянии, чем в эйфории. Им даже никогда не было особенно хорошо в постели, напомнил он себе. Их половая жизнь постепенно превратилась в средство примирения, быстрые и неряшливые соития после завтрака в их двушке на Лилла

Эссинге, почти не раздеваясь. В холодном поту нежности, смешанной с ужасом, они, словно с трибуны стадиона, наблюдали, как тает их любовь... Луиза уходила на работу – она тогда проводила исследование рынка для какой-то продуктовой компании, – а он занимался самообразованием, студент-недоучка, живущий на средства жены и мечтающий... О чем, собственно, он тогда мечтал?

Да ни о чем. Едва только за Луизой закрывалась дверь, его начинала мучить все та же эротическая чесотка. Его охватывал нестерпимый похотливый зуд, сопровождаемый взрывами сексуальных фантазий, но Луиза никогда в них не присутствовала. Зуд начинался в голове и распространялся по всем телесным и душевным закоулкам. Он наполнял кровью его мужской орган, разъедал совесть, сыпал чесоточный порошок в его нервную систему и мог быть удовлетворен, только когда он находил особу противоположного пола и трахал ее в любом подходящем и неподходящем месте. В крошечной студенческой комнатке. Или в «коллективе», где она жила. Или в элегантной пятикомнатной квартире на Эстермальме, которая буквально вопила в подтверждение банальной истины, что деньги не приносят счастья.... Или в однокомнатной лачуге в пригороде, убедительно доказывающей противоположное, что деньги все-таки кое-какое счастье приносят... Там можно было поранить ногу о разбросанные по полу элементы конструктора «Лего», хозяин конструктора спал на выдвижной койке, а его отчаявшаяся одинокая мама умоляла ночного гостя вести себя потише. Или на улице, в контейнере (такое тоже случалось), в темном углу Бьорнс Тредгорд – а куда еще идти, если предмет своего вожделения он находил без четверти три утра, притулившейся у стойки бара в ресторане «Мельница»?.. Ничего необычного в этом не было. С этим зудом можно было справиться только одним способом – эякулировать его из тела, и к любви эта терапевтическая процедура не имела ни малейшего отношения.

А завершала приступ чесотки ложь, наспех придуманное алиби, отвлекающая внимание перебранка – все что угодно, что могло бы хоть немного успокоить муки совести.

– А знаешь, что я думаю о нашем браке? – Луиза словно прочитала его мысли.

– Я почему-то знал, что раньше или позже ты задашь этот вопрос.

– Он не стоил ни гроша.

– Спасибо. Твои слова согревают душу.

– Факт есть факт. Восемь лет никуда нас не привели. Вернее, привели в никуда. Я много думала об этом в последнее время. От отца Винсента остался, по крайней мере, Винсент... – Она сделала широкий жест в сторону мальчика. – Эта связь имела смысл, хотя и была короткой и уж никак не счастливой. Но мы-то с тобой, Иоаким, мыто не достигли ничего, кроме горя... горя, горя и горя... просто горная цепь. Я даже не уверена, научились ли мы чему-нибудь друг от друга, кроме твердого знания, что так жить нельзя и что такое никогда не повторится.

– Ты весь в грязи! – вставил Винсент, обращаясь к Иоакиму. – *И ты мне не папа!*

Эти проникновенные слова мальчика вызвали у матери улыбку. Она как раз вынимала из духовки очередную партию булочек. Совершенно генетическая улыбка, подумал Иоаким, она передавалась по материнской линии со времен величия австралопитеков в африканской саванне, улыбка неисчерпаемой любви к своему потомству и к своему мужчине.

– А как его папа? – спросил Иоаким, сглотнув комочек величиной с яблоко.

– Я о нем мало что знаю. Деньги платит вовремя. Винсент иногда к нему ездит.

– Папа, папа, – заныл Винсент. – Хочу к папе!

Он выглядел очень довольным собой: ему удалось добиться подтверждения, что ни в каком родстве с этим грязным и подозрительным незнакомцем он не состоит. С неестественной скоростью он спрыгнул на пол и начал колотить ногой в дверь кухонного шкафа.

– Хорошие мужики на дереве не растут, – продолжила Луиза. – И это и есть главная трагедия молодых одиноких женщин. В этом городе живут тысячи интересных одиноких

женщин, а где же мужчины, Иоаким, я тебя спрашиваю, где же мужчины? Трудоголики в скучных костюмах, спившаяся богема... Оружие футбольные фанаты... а где изящество, элегантность, стиль? Где прячутся честные и романтические мужчины?

Луиза вздохнула и начала прибираться на кухонном столе. Иоаким решил, что сейчас самое время рассказать о смерти Виктора.

Какое-то время его бывшая жена и отец были очень близки... Это стало особенно заметно, когда их брак уже шел к концу и Луиза в отчаянии искала утешения у Виктора. Они долго и тихо говорили по телефону по вечерам, покуда Иоаким в соседней комнате размышлял, какой бы повод изобрести, чтобы удрать в заповедник секса под названием «Мельница». Они продолжали и продолжали говорить, и в конце концов он просто исчезал, без всяких объяснений, иногда на несколько дней. Заводил пошлые знакомства, ночевал на диванах у собутыльников, тупо ворочался в собственном эмоциональном болоте... Условия жизни ему диктовал член, член был его посохом, картой, компасом и поводырем в джунглях сексуальных возможностей... Он готов был сделать что угодно, пойти на любую ложь, лишь бы избежать гробового молчания за обеденным столом в шесть часов, вздохов по поводу новостей в девять и душещипательных сахарных пилюль вечернего фильма.

– Твой долг – спасти брак, – сказал ему Виктор, когда они в последний год их совместной жизни приехали к нему в Фалькенберг на Рождество. – Поверь мне, ты даже понятия не имеешь, что это такое – одиночество. Настоящее одиночество пробирает до костей.

А что сказал Виктор Луизе, Иоаким даже и не знал. Сам он был отнюдь не в настроении выслушивать чьи-либо советы, и уж во всяком случае не советы Виктора.

Маленький Винсент погрузился в мистические размышления пятилетнего ребенка. Он с увлечением ковырял указательным пальцем в носу. Точно как я когда-то, подумал Иоаким и почувствовал, как на его лице расплывается дурацкая, спровоцированная улетающим хашем улыбка... Если бы он тогда послушал Виктора, никакого Винсента не было бы... хотя, может быть, был бы кто-то другой, наполовину этот же, но все же другой, с участием и моего генетического кода...

Он заметил, что Винсенту удалось выудить из ноздри величественную козу. Малыш тут же с миной заправского дегустатора отправил ее в рот.

– Не надо этого делать, дорогой, – сказала Луиза. От ее ястребиного материнского взора не ускользала ни одна мелочь.

Иоаким вдруг почувствовал страстное желание тоже выкопать из носа козу и сунуть ее в рот, вернуть то незамысловатое душевное равновесие, когда человек может есть собственные сопли и нимало этого не стесняться. Просто потому, что это ему нравится, потому что ему вкусно, а на мнение остального человечества ему совершенно наплевать. Но подвернутая нога опять дала о себе знать резкой болью, и он понял, что ему необходим врач.

– Умер Виктор, – сказал он своей бывшей жене. – Вчера утром. Говорят, от отравления. У меня нет денег даже поехать на похороны, мало того, мне даже не на что пойти к врачу и что-то сделать с ногой. Можешь одолжить мне немного денег?

Несколько часов спустя он сидел в вагоне метро по дороге на Кунгсхольмен с профессионально наложенной повязкой на голеностопном суставе. Оказалось, сломана кубовидная кость, но смещения нет, так что гипса не потребовалось – заживет и так.

Все пока складывалось удачно. Простое сочувствие ближнего, как обычно утверждал Эрлинг Момсен, может утешить страждущего. Луиза проявила сострадание в самом напряженном месте сценария. Даже маленький Винсент, казалось, был тронут его жалким положением и временно прекратил охоту за козами.

Ощущение было такое, что жизнь налаживается. Луиза одолжила ему денег, и жизнь сразу наполнилась смыслом. Странно, что какая-то несчастная тысяча крон плюс банка сито-

дона, сильных болеутоляющих таблеток с кодеином, выписанных врачом, подняли настроение чуть не до состояния левитации, несмотря на смерть отца. Дополнительную порцию антидепрессанта он получил, когда, хромая, подошел к дому и обнаружил, что непрошенная охрана исчезла: байкеры, очевидно, закончили рабочий день и поехали отчитываться в свою контору в Сольне.

Намного, намного легче. Очень скоро половина некоей коллекции живописи перейдет к некоему наследнику, обремененному некими финансовыми проблемами... Собственно, сейчас у этого наследника было ощущение, что единственная его серьезная проблема – некая женщина, поразившая его в самое сердце своей непростительной неверностью... Нет, конечно, нельзя забывать, что его родителя, человека, занимавшего его чувства и мысли сорок лет, больше не существует. С этой точки зрения предательство Сесилии не такая уж серьезная проблема. Такие проблемы решаются, подумал он в лифте, с живыми всегда можно договориться. На мертвых не действуют ни угрозы, ни обещания.

Приятную ноту в ощущение гармонии с внешним миром внес и тот факт, что на автоответчике он нашел сообщение от сестры. Он набрал номер, и она тут же взяла трубку. Жанетт была на удивление покладиста, они обсудили практические детали похорон. Сестра полностью соответствовала образу человека долга, умеющего принимать решения в тяжелые минуты жизни. Она четко определила, что именно должна сделать она и что должен сделать он.

Внезапная легкость существования, поддержанная двойной дозой болеутоляющих таблеток с заметным наркотическим эффектом, подвигла его на героическое решение прибегнуть в квартире, напоминающей зону военных действий: разобрать завалы одежды, атаковать пагоды грязной посуды, навести порядок на письменном столе. Он даже, к своему удивлению, начал набрасывать план дорогого, но совершенно необходимого ремонта ветхого дома на Готланде. Ремонт уже не казался недостижимым – он теперь богатый наследник.

Но даже и этого ему показалось недостаточно: без четверти час ночи из подземного моря замыслов медленно, как рыба из омута, выплыла идея, подсказанная ему покойным отцом и бывшей женой, хотя сами они об этом понятия не имели. Взяв за исходный пункт несколько собственных пометок на полях книги «Рост сетевого общества», том 1, Мануэля Кастелля (обнаруженной, кстати, под грудой картонок из-под пиццы, пустой бутылкой хереса Люстау Драй Оролозо за 742 кроны и пачкой распечатанных фотографий из «sexxplanet.com»), а также основываясь на биографии Виктора Кунцельманна, он начал писать следующее:

«Война уже не является эмпирической данностью европейцев. Отсутствие военного опыта у современных мужчин приводит к глубокому нарушению самосознания. Если не принимать во внимание необходимость для мужчин жертвовать своей жизнью на войне, невозможно понять, как могли женщины смириться с патриархальными структурами. Мужчины с детства знали, что в отпущенный им период жизни непременно разразится война и что они будут обязаны в ней участвовать. Это давало им привилегированное положение и в мирное время. Но сейчас, когда уже несколько поколений живет без войны, наступает новый этап человеческого развития – отмирание патриархата!»

«Церковь Святого Лаврентия названа в честь покровителя бедных, святого Лаврентия» – так было написано в кем-то забытой брошюре о достопримечательностях Фалькенберга, лежавшей на скамейке рядом с Иоакимом... – ага, Святого Лаврентия, «римского дьякона, погибшего мученической смертью на костре в 288 году после Рождества Христова». Вполне последовательно, где же еще попрощаться с отцом, как не здесь, – через несколько часов отец тоже превратится в пепел в городском крематории. Интересно, не думает ли его

сестра о том же самом? Должно быть, нет. Жанетт вовсе не предавалась философским размышлениям, она была погружена в текст двести сорок девятого псалма: «Только день, только мгновение...»

Все изменилось. С тех пор как он был здесь в последний раз (по какому случаю, он и сам не помнил), церковь отремонтировали. Да и сам Фалькенберг на себя не похож, хотя, казалось бы, это и есть его главная задача – быть похожим на Фалькенберг. Каждое утро предлагать жителям одну и ту же версию себя самого, чтобы их, не приведи господи, не напугать. Он прогулялся с утра по центру и, к своему удивлению, обнаружил, что в бывшем рыбном магазине разместилась пиццерия «Чарли Чаплин» (собственно, она там и была последние пятнадцать лет, но вывеска появилась недавно), а в бывшем музыкальном магазине Вальдеса, известном всему городу, теперь бойко торгуют турецкими деликатесами. В большой витрине вместо хагстрёмовского усилителя и античных гитар работы Левина теперь лежали оливки, бараньи сосиски и пакетики с разнообразными пряностями. Вокзал по распоряжению железнодорожного начальства собирались перенести в район Тройнберга, а на Этрানে возле пристани появилось несколько омерзительных скульптур, застрявших в городе после недавней выставки.

За окном было пасмурно. Набухшие дождем облака волочились чуть ли не по земле, выливали содержимое на городские улицы и уходили на восток. Даже и погода на себя не похожа, хотя очень подходит для такого дня.

– С грустью и болью мы собрались здесь сегодня, – монотонно читал пастор. – Но в этом горе есть и крупинцы радости – радости, что мы знали Виктора Кунцельманна, любимого отца и прекрасного друга, общественного деятеля и замечательного профессионала...

Виктор, напомнил себе Иоаким, это же вон та неподвижная фигура в деревянном ящике у хоров, под бархатным покрывалом с рельефным изображением римского креста... в гробу модели «Фуга 25», 6995 крон, включая налог на добавленную стоимость.

– Модель вполне бюджетная, но выглядит недешево, – бодро объяснил брату и сестре Кунцельманн три дня назад владелец похоронного бюро Рутгер Берг, притворяясь, что не узнает их, хотя они учились в одной и той же фалькенбергской гимназии. – Есть, конечно, более дорогие модели, – добавил он, бросая тщательно отрепетированный скорбный взгляд на выставочный экземпляр. – Но поскольку вы решили кремировать покойного, не думаю, что вам стоит тратить много денег на гроб. Лучше купить убранство побогаче и достойную плиту.

За окном дождь совершенно неожиданно перешел в град. Это необычное в июне явление окончательно укрепило Иоакима в мысли, что в мире что-то не так: погода, город, его отец, ни с того ни сего старающийся убедить сына, что он мертв. Даже Рутгер Берг – он помнил Рутгера как веселого парня; по слухам, тот соблазнял девочек, предлагая им сеанс экзотической любви между двух гробов в похоронном бюро отца.

– Что вы хотите делать с прахом?

Иоакима, перелистывающего маленькую папку под названием «Советы родственникам», вопрос застал врасплох.

– С прахом?

– Я имею в виду – могила или урна?

– Мы думали об урне.

– И сколько персон вы себе мыслите? Наш колумбарий рассчитан на восемь персон за двадцать пять лет... если вы выберете захоронение праха без урны, то возможностей меньше... не больше четырех персон... Тесновато в нашем городе покойникам, если позволить себе выразиться неформально...

Все эти подробности, словно позаимствованные из второсортного фильма... и он никак не мог понять, почему шведская церковь не отстегнет хотя бы сотую долю процента от своего состояния и не поставит в храмах скамейки поудобнее.

Пастор закончил свою надгробную речь вымученным уподоблением искусства живописи божественному просветлению духа. Иоаким опять начал думать о том, о чем старался не думать со дня приезда в Фалькенберг и о чем охотнее бы не думал и сейчас: у Виктора за несколько недель перед смертью развился острый психоз, и цена этого психоза измерялась во вполне реальных деньгах.

– Папа уничтожил картины, – такими словами встретила его потрясенная сестра в квартире на Чёпмансгатан. Сейчас ему казалось, что это было много лет назад. – Посмотри сам... здесь как черт разорвался.

Она провела его в салон. Светлые прямоугольные пятна на стенах свидетельствовали, что там когда-то висели картины. Кунцельманн-старший работал методично и тщательно: он снимал картины с крючков, срезал их с рам... а потом – в это трудно было поверить – кромсал ковровыми ножницами. Ножницы и сейчас лежали на полу, словно бы специально для убеждения маловеров. Несколько картин были просто-напросто замазаны дешевой синей малярной краской. Никакого другого объяснения, кроме внезапного помешательства, они придумать не могли.

– А ты уверена, что квартиру не взломали? – Иоаким никак не мог примириться с увиденным.

– Не думаю... нет, конечно. Все на месте. И сигнализация была включена... Я сама набирала код. Не понимаю... он словно внезапно возненавидел то, что любил больше всего на свете. И даже страховку не получишь, поскольку все убытки нанесены самим хозяином.

Из четырех полотен Карла Кильберга³⁴ оставались только узкие полоски пестрого холста. Полпоколения шведских живописцев межвоенного времени исчезло из этого мира. И что еще хуже, единственное отцовское полотно Дика Бенгтссона, этой знаковой фигуры шведского постмодернизма, полотно, случайно попавшее Виктору в шестидесятые годы... бесценное полотно, которое полагалось бы хранить не в городской квартире, а в банковском хранилище, выглядело как палитра маляра, пробовавшего синюю краску для заборов фирмы «Беккер». Эта работа – обычный сельский сарай, выкрашенный фалунской красной краской с провокационным граффити в виде свастики на окне, обработанная лаком и утюгом, как обычно поступал эксцентричный художник, – была, как говорил Виктор, совершенно не известна знатокам Дика Бенгтссона. Иоаким с удовольствием повесил бы ее в своей квартире на почетном месте. Только сознание, что истинные жемчужины отцовской коллекции лежат под надежной охраной в банке, удержало его от громких проклятий. Целое состояние было замазано дешевой заборной краской и изрезано на узкие ремни. Сестра, похоже, этого не понимала. Она была напрочь лишена способности ассоциировать происходящее с толстыми пачками денег.

– Бедный, бедный папа, – вот и все, что она могла из себя выдавить. – Что могло случиться?

Этого не знал никто. Последние недели перед смертью Виктор полностью уединился. Жанетт пыталась дозвониться ему, но безуспешно. И не только она – автоответчик был переполнен и яростно мигал в руинах западно-шведского искусства первой половины двадцатого века.

Многие из звонивших были сейчас здесь, в церкви. Например, Семборн. Адвокат пришел со своей похожей на мышку-полевку женой. Иоакиму не хотелось вспоминать оставленное им сообщение, равно как и то, о чем адвокат позже говорил в своей конторе. Согласно

³⁴ *Кильберг Карл* (собственно, Чильберг, 1878–1952) – известный шведский архитектор и живописец.

законам энтропии, ситуация становится тем беспорядочней, чем больше ты нуждаешься в порядке и стабильности. Он постарался выкинуть из памяти голос адвоката и всю его речь с совершенно обескураживающими намеками... Адвокат заявил, что многие из купленных Виктором за многие годы работ не что иное, как подделки, и что он хочет немедленно получить по этому поводу разъяснения.

Рядом с адвокатом сидел местный галерист Окессон, который сорок лет пользовался энциклопедическими знаниями Виктора, его советами и подсказками. Позади него на скамейке сидел еще один галерист, кажется из Варберга. Имени его он вспомнить не мог. А чуть подальше – знакомые еще с отроческих лет фигуры: председатель ABF, трое членов совета по оформлению города, шеф управления культуры, которого Виктор в свое время уговорил открыть в коммуне художественную школу. Были еще пара рабочих-реставраторов, соседи, несколько шахматных и теннисных энтузиастов, а также двое ушедших на пенсию смотрителей музеев в Стокгольме и Гётеборге.

Они скорбят по моему отцу, растерянно подумал Иоаким, по человеку, с которым я вырос, с которым я совсем не так давно сидел на причале и ловил уклейку. Здесь, в этом городе, отец как-то посадил меня на плечи, чтобы я увидел мир глазами взрослого. Здесь, буквально за углом, на Стургатан, есть кондитерская, куда мы ходили по субботам (в Берлине это традиция, говорил отец, *Frühschoppen jeden Samstag*³⁵). По этим бульжным мостовым, пятнистым от помета чаек, Виктор водил его в школу, на футбол, пинг-понг, гандбол, в кружок скаутов, где бородатый мужик по фамилии Браск командовал четырьмя десятками белобрысых пацанов в голубых рубашках... Это здесь, в Фалькенберге, Виктор, как опытный лощман, провел его через коварный архипелаг юношества, со всеми его опасными омутами, подстерегающими подростков вроде Иоакима. Виктор выпустил его во взрослую жизнь с ее вечными ветрами и туманами, укрывшими землю от берегов Халланда до Шетландских островов... Это он, Виктор, останавливался на каждом углу поговорить со знакомыми – близких друзей у отца не было, зато знакомых было множество.

Тот, кто лежал в гробу, кого пастор по непонятным причинам все время называл Виктором Кунцельманном, тот, с кем они сейчас прощались в церемониальном зале похоронного бюро Рутгера Берга, не имел ничего общего с живым любящим отцом, когда-то помогавшим ему с уроками на кухне в квартире на Чёпмансгатан, рассказывавшим ему сказки. Тому не составляло труда справиться с любыми горестями подрастающего без матери мальчика по имени Иоаким. Тот был жив, а этот, в гробу, бесстыдно мертв.

Но какой из Викторов установил в квартире фальшивую сигнализацию? Он что, собирався обезопасить свою коллекцию, чтобы незадолго до смерти изрезать полотна в куски? Здесь было над чем подумать...

Когда Иоаким, в технических вопросах не особенно доверявший своей сестре с ее гуманитарным складом ума, вышел в прихожую проверить, действительно ли была включена, как она утверждает, сигнализация и не взломали ли и в самом деле квартиру, он немедленно обнаружил, что никакой сигнализации нет. Всего лишь макет, так называемая дурилка, прозрачный пластиковый ящик с мигающей лампочкой, – авось вор испугается и убежит. Странно, что он не обнаружил этого раньше – коробочка с двумя проводками, кнопки, чтобы набирать бессмысленный цифровой код, и красная лампочка, работающая от девятивольтовой батарейки. Снабженная шильдиком «сигнализация Секуритас», это нехитрое устройство вполне могло годами обманывать как брата и сестру Кунцельманн, так и двух-трех городских медвежатников.

³⁵ Каждое субботнее утро (нем.).

Открытие подтолкнуло целую лавину версий, в которые он, впрочем, сестру не посвящал – что-то подсказывало ему, что ей лучше пребывать в убеждении, что квартира была поставлена на сигнализацию.

Что, например, если квартиру и в самом деле разгромили взломщики? Но почему они тогда ничего не унесли? А может быть, ценность картин в собрании была не так уж велика и Виктор решил не утруждать себя ненужными хлопотами с сигнализацией?

Это допущение пугало его больше всего... он вполуха слушал отпевание и размышлял о подозрениях Семборна.

Пастор перешел к последней, надгробной молитве. Иоаким все время возвращался мыслями к встрече с адвокатом два дня назад. Семборн позвонил ему на домашний телефон Виктора и, произнося малопонятные тирады насчет коллекции, попросил о встрече «с глазу на глаз».

– Я знаю, время выбрано неудачно, – сказал он, не успел Иоаким перешагнуть порог его конторы в обеденный перерыв. – Ты, конечно, очень занят подготовкой похорон и всей этой суетой... Но я ничего не понимаю, и никто не может ответить на мои вопросы. Я наверняка не стал бы этим заниматься, если бы не нашел твоего отца в ателье перед незаконченной картиной Трульсона. И не просто картиной, а точно такой, какую он продал мне, уверяя, что это единственный экземпляр.

Семборн показал на стену, где между разного рода адвокатскими дипломами висел халландский³⁶ девятнадцатый век. Перед бревенчатым домом стоят двое ребятишек и голодными глазами смотрят, как мать прогоняет через сепаратор молоко для сыра. Низкое солнце, красно-оранжевая листва на деревьях... Порядочный, в общем, китч.

– Я думал, все уже прояснилось тогда, по телефону. Папа делал копии для собственного удовольствия! Он же был реставратор. А может быть, отработывал технику. Набивал руку. Что здесь непонятного?

– А я не понимаю ни бельмеса! – Голос Сембурна звучал почти истерично. – И я говорю не о Трульсоне, хотя и с Трульсоном довольно скверно...

– А о чем вы говорите?

– О редкостях. Два небольших полотна, все эксперты утверждают, что и то, и другое – оригиналы. Я говорил со специалистами и в Копенгагене, и в Гётеборге. Они загорелись, как юнцы, – подумать только, вновь открытые картины... Парный портрет – Хольгер Драхманн и Отто Бенцон на веранде... Никому ранее не известный этюд: Мария Кройер со своей собачкой на берегу у Брондумского пансионата... Но я случайно встретил его правнучку, или что-то в этом роде, в общем, родственницу, и она совершенно уверена: писал картину не ее дед. Стилль абсолютно тот же, все правильно, и мотив вполне мог быть его... но это не картины деда, сказала она, если бы они были его, она бы их знала.

Адвокат остановился, чтобы перевести дыхание.

– О чем вы? – еле успел вставить Иоаким.

– О моих картинах Кройера... Художник из Скагена! И его наследница, внучка сына или дочери... Не помню, чья она внучка... представь себе, она живет в Гётеборге, и у нее есть свой каталог, она его от кого-то унаследовала... И там описан каждый его этюд, каждый набросок, каждый рисунок, чуть не каждый мазок кисти... Месяц назад я был у нее... Виктор еще был жив... я положил картины в багажник и поехал в Сcone, пусть, думаю, посмотрит, ей чуть не девяносто...

Семборн, очевидно, понял, насколько маловразумительно звучит его тирада, и остановился на полуслове.

– Значит, отец продал вам две неизвестные работы Кройера... А откуда он их взял?

³⁶ Халланд – провинция на юго-западе Швеции, известная художественной школой; центральный город – Хальмстад.

– Этого я не знаю. И никаких поводов для расспросов у меня не было. Я сорок лет покупаю картины у Виктора. И он с меня дорого не брал... если, конечно, это оригиналы.

– Если вы купили их у Виктора, то можете не сомневаться – это оригиналы.

– Но все были донельзя удивлены, Иоаким, что их нет в каталоге. Хотели сделать более тщательный анализ пигмента и полотна, чтобы ликвидировать все сомнения, но я воспротивился. Вся это история привела меня в полную растерянность. Речь все же идет о полотнах гигантской стоимости...

Адвокат достал носовой платок и нервно вытер шею.

– Не пойму, какое отношение к картинам имеет выжившая из ума девяностолетняя старуха в Хельсинборге... В конце концов, это смешотворно. На что вы намекаете?

– Не исключено, что Виктор продал мне подделки. Несколько штук, если считать за все годы. Скорее всего, он и сам этого не знал. Я попросил эксперта посмотреть на моего Рагнара Сандберга. Ты знаешь, этот гётеборгский колорист... И в одном полотне он не уверен. На восемьдесят процентов – подлинник, сказал он. Восемьдесят процентов – это не сто! Я заплатил за полотно пятьдесят тысяч крон – и это в семидесятые годы! – и заплатил не за восемьдесят процентов подлинности, а за *сто*! И вот еще что... мне очень жаль, что приходится говорить об этом за два дня до похорон, но, если ты помнишь, нашел его мертвым я – и нашел перед копией Нильса Трульсона... и еще того чище – полузаконченной имитацией Дюрера! Альбрехт Дюрер! Один из величайших гениев за всю историю человечества... Не знаешь, что и думать.

– Не надо валить все в одну кучу, Семборн. Виктор в свободное время делал пастиши для собственного удовольствия, и никакой связи с вашими работами нет и быть не может. И в конце концов, что вы хотите от меня?

– Я хочу гарантий. Я хочу быть уверенным, что твой отец никогда не занимался ничем противозаконным.

Наступило молчание. Собеседники неприязненно уставились друг на друга.

– Можете быть спокойны, Семборн, – прервал наконец паузу Иоаким. – Отец был сама порядочность. И ваша девяностолетняя сивилла ошибается. Вы же сами сказали, что все эксперты подтвердили подлинность вашего Кройера. Пусть они проведут пигментный анализ, и вам будет спокойнее. И если и в этом случае подлинность картин будет доказана, а я уверен, что так и будет, можете считать их подлинными. В этом же и смысл их работы! Эксперты для этого и существуют! Это они и никто другой определяют подлинность всего, что есть в этом мире. И нам остается только положиться на их суждение.

Сейчас, сидя на церковной скамейке, Иоаким попытался поиграть с мыслью, что будет, если адвокат прав. Тогда можно как-то объяснить разгром, учиненный Виктором в квартире. Если додумать эту мысль до конца, получается, что Виктор, допустим, обнаружил, что произведения искусства, которые он собирал долгие десятилетия, могут оказаться фальшивками... и тогда он в припадке гнева, или отчаяния, или и того и другого искромсал не меньше двадцати полотен. А может быть, он просто не хотел, чтобы эти сомнительные работы бросали тень на главную часть коллекции, спрятанную в банковском хранилище Общественного сберегательного банка?

Ну нет. Не может быть. Уж кого-кого, а Виктора в вопросах изобразительного искусства обмануть было практически невозможно – по той простой причине, что оценка подлинности и была его главной специальностью. Он был непререкаемым авторитетом в этой области. Если музейных работников начинали грызть сомнения, они обращались именно к Виктору, и так продолжалось десятилетиями. Он был не просто известен, он был легендой.

И даже если это подделки, думал Иоаким, они настолько совершенны, что само понятие «подделка» теряет смысл. Если подделку невозможно отличить от оригинала, тогда, может быть, удалось бы обмануть и Виктора. И тогда это не подделка.

Единственное, что его смущало: почему отец продал два неизвестных полотна Кройера, этого самого знаменитого датского живописца, какому-то провинциальному адвокату, едва разбирающемуся в живописи? Почему, если ему удалось купить их задешево, он не оставил эти работы себе? Две совершенно неизвестные работы, какими бы маленькими они не были, – сенсация в истории живописи, это понимал даже Иоаким.

Церемония предания тела усопшего земле приближалась к концу. Органист с чувством доиграл двухсотый псалом «В этот чудесный летний день», и пастор подал знак всем встать. Пришло время прощания.

А может быть, отец испытал припадок *sancta simplicitas*, святой простоты? – подумал Иоаким, подходя к гробу рука об руку со своей красивой скорбящей сестрой. Что еще могло подвигнуть отца перед смертью уничтожить бесценные полотна? Приступ гнева, вызванный причинами, которых они никогда не узнают?

Странно, подумал он. Когда дети покидают родителей, они уверены, что оставляют позади некий статический мир, своего рода коагулированное время, в котором продолжают жить родители, завернутые, словно в кокон, в бессобытийное настоящее, ничем не отличающееся от прошлого. И когда мы возвращаемся, скажем, на Рождество, эти догадки только подтверждаются: тот же семисвечник, мебель стоит так же, как и годы назад... детская комната, словно выставочный экспонат ушедших времен, знакомые запахи, знакомые традиционные шуточки, старомодный синтаксис... и мы приходим к заключению, что с последнего раза ничего не изменилось.

На самом деле измениться могло очень многое.

Скажем, Виктор уничтожил картины в припадке ревности или чтобы произвести на кого-то впечатление? Такая модель поведения была Иоакиму знакома: он как-то шарахнул об пол винный бокал оррефорского стекла за 675 крон, чтобы доказать свою пламенную любовь к Сесилии Хаммар....

Гроб, стоящий перед ним, напомнил, что на все эти вопросы он вряд ли когда-нибудь получит ответы. Смерть – идеальный похититель информации, она совершает бессмысленный взлом и исчезает со своей поживой... искать не стоит труда. Смерть вне времени и пространства.

Жанетт положила на гроб букет цветов. Краем глаза Иоаким заметил на скамейке Эрланда с бородой под Фиделя Кастро – тот закрыл лицо руками. Вот мы стоим, вдруг подумал он, живые, живее некуда. Где-то в этой комнате проходит граница, только мы ее не видим. Граница между нами и тем, кто лежит в гробу.

Он дотронулся до драпировки, и на этом закончилось его прощание с покойным Виктором Кунцельманном...

– Хочу поблагодарить вас за в высшей степени достойную церемонию в церкви, – сказал председатель АВФ Польссон и отечески сжал руку Иоакима. Они стояли с Жанетт на веранде «Гранд-отеля» и принимали соболезнования. – И еще должен сказать, что я и моя жена скорбим вместе с вами. Ваш отец был замечательный человек... один из лучших! Помню, как встретил его в первый раз. Это было в середине шестидесятых... Тогда профсоюзные шишки из Стокгольма буквально заездили нас с народным образованием: все эти бесконечные курсы для пивоваров с Фалькена, курсы автомехаников, математика, техника... И тут приходит Виктор Кунцельманн и все ставит с ног на голову своими вдохновенными лекциями по истории искусств. И знаете, что поразительно? Он не хотел брать деньги, выступал совершенно бесплатно!

– Спасибо, – сказал Иоаким, – мне очень приятно это слышать. И спасибо, что вы пришли.

– Он много сделал, чтобы наш прелестный городок стал еще лучше, – продолжил председатель свою оду. – У нас уже два года положительные цифры по народонаселению, люди к нам приезжают, и, думаю, в этом немалая заслуга вашего отца. Он, как никто, способствовал созданию позитивного духа в коммуне. Он принес в маленький Фалькенберг дыхание мира! Вы, его дети, давно уже разлетелись кто куда, но поверьте, здесь происходят интереснейшие вещи! Стефан и Кристер известны по всей стране. Роберт Веллс купил виллу в Скреа. Представьте только: Роберт Веллс! Пианист мирового класса! А в прошлом году благодаря вашему отцу мы устроили скульптурное биеннале! По всей набережной стоят современные скульптуры, вы их видели наверняка, если успели прогуляться по Хамнгатан к горшечной Торнгрена. Даже в центральных газетах писали... Кто бы мог подумать, что маленький Фалькенберг окажется на карте художественных центров? Но, как видите, это факт, и все благодаря Виктору. Но извините, я вернусь к своему кофе. Другие тоже хотят выразить свое сочувствие.

К Иоакиму подходили знакомые и незнакомые люди, произносили соболезнующие слова, а он вспоминал время, когда в «Гранд-отеле» устраивали танцы для школьников. Вон там, в углу у мужской уборной, его как-то вырвало всем праздничным меню, состоявшим из укропных чипсов «OLW» и дешевого французского вина; самое невероятное, что при этом он умудрялся планировать боевую операцию, состоявшую в проникновении его руки под резинку трусов некоей Розиты Осслер. На втором этаже он перешуupal всех одноклассниц, а за ширмой у винной стойки, где сейчас Эрланд Роос щедро наливал бокалы из двух ящиков найденного в отцовском погребце Брюндльмайер Грюнер Вельтлинер Альте Ребен 1992 года (с разрешения метрдотеля, который дал понять, что не имеет ничего против, если они принесут свое вино), – так вот, за этой самой ширмой один из его друзей давным-давно, бурным майским вечером, потерял невинность.

– А кто это? – спросила сестра, показывая на лысого господина, опиравшегося на клюшку.

– Понятия не имею. Должно быть, кто-то из папиных стокгольмских друзей.

– Его, по-моему, в церкви не было. Может быть, он просто забрел не туда?

– Что мы вообще знаем о людях, с которыми встречался Виктор? – вздохнул Иоаким. – Ровным счетом ничего. Честно говоря, мы забросили отца в последнее время. Надо было бы проследить, хорошо ли он себя чувствует, как у него с мозгами... тогда бы он, глядишь, и не изуродовал свои полотна.

– Бедный папа!

– Я бы сказал, бедные мы... Ты хоть имеешь представление, во сколько нам обошелся его психоз?

– Осталось гораздо больше, если ты беспокоишься о наследстве.

– А ты уверена? Хорошо, будем надеяться, что он из квартиры не отправился в банк – с кухонным ножом, банкой краски и злобным умыслом окончательно разорить наследников, – мрачно заявил Иоаким, наливая себе еще бокал в намерении хоть немного поднять настроение. Он уже выпил почти целую бутылку дорогого винтажного вина, доел последние пилюли счастья под названием «ситодон», но желаемого эффекта не добился.

– Может быть, я ошибаюсь, Иоаким, но мне кажется, ты думаешь только о его деньгах.

– О *моих* деньгах. И твоих. Я рассчитывал, что кое-что останется... Ты, случайно, не знаешь, папа ни с кем не встречался в последние годы?

– Ты имеешь в виду – с женщиной?

– А что еще заставляет людей совершать безумства? Что приводит людей в отчаяние в мирное время?

Сестра взглядом заставила его замолчать.

– Потом поговорим. Лучше скажи мне... вон там стоит, случайно, не Окессон?

Это был и в самом деле местный галерист. Он кружил между одетыми в черное гостями и пожимал всем руки.

– Это был шок, – грустно сказал Окессон, подходя. – Мы должны были встретиться в тот самый день, когда Семборн нашел его мертвым... Самые искренние соболезнования... Странно, я видел его пару недель назад, он был в прекрасной форме. Никаких признаков болезни. Я был совершенно уверен, что он доживет до ста. Прошлым летом мы играли в теннис. Каждую неделю! За десять матчей я не взял ни одного сета, а он ведь на двадцать два года старше меня! А наш последний матч! Мы играли на гравии у Страндсбаден, и я потом сказал жене: «Мне кажется, Виктор изобрел эликсир жизни!» И что я буду без него делать? Я ведь, понимаете ли, только его советам и следовал! Если Виктор говорил, что стоит, к примеру, посмотреть выставку в Мальмё, я тут же садился в машину и ехал. Если он советовал купить картину никому не известного художника, я покупал, не задавая вопросов. У него, знаете, такой глаз был... тут же определял, что хорошо, а что так себе. За все годы он ошибся только один раз... еще в семидесятые годы. Как раз начал входить в моду Ула Бильгрэн из Мальмё. «Плагатор, – сказал Виктор. – Забудь про него. Кто захочет вкладывать деньги в художника, которому нечего сказать? Мастерством он владеет, согласен, – сказал он, – освоил все стили. Тут тебе и абстрактная живопись, и конкретная, и фигуративная, и нон-фигуративная... беда только в том, что он совершенно не самостоятелен. Ворует все свои идеи у гения. А гений этот – немец по имени Герхард Рихтер! Как только у Рихтера персональная выставка в Кёльне, Ула тут как тут, изучает картины, потом едет домой, запирается в ателье и переписывает все подряд...» Я послушался – и зря! Такой подход не для продавца картин. – Окессон постучал пальцем по виску. – Что хорошо, а что плохо, в конечном счете определяет рынок. То есть такие люди, как я! А сейчас Ула Бильгрэн – один из самых дорогих художников! В прошлом году Буковскис в Мальмё продал совсем небольшую работу маслом за полтора миллиона...

Жена Окессона, женщина с гипсовой после многочисленных подтяжек физиономией, подошла пожать им руки.

– Как это грустно... – сказала она. – Спасибо за предоставленную возможность познакомиться с усопшим. К сожалению, мы должны идти – внуки сегодня на нас.

Намекает, подумал Иоаким. Виктор так и не дождался внуков. Для Фалькенберга – страшный грех.

– Я знаю, что сейчас не время, – твердо сказал Окессон, – но что вы будете делать с оставленными Виктором картинами? Ты же не можешь продать в Гётеборге все, Жанетт?

– Мы еще об этом не думали, – сказала сестра. – Сначала мы должны сесть и посмотреть, что же папа оставил. Убедиться, что нет никаких распоряжений... может быть, он хотел что-то подарить. У меня такое чувство, что некоторым работам место в музее.

– Чтобы не перенасытить рынок, надо привлечь коллекционеров из разных мест, – не унимался Окессон. – У меня есть все необходимые контакты, и я могу взять на себя продажу, за вознаграждение, разумеется. Уж я-то знаю, где найти покупателей на западных шведских художников, даже если некоторые из них и не принесут больших денег, как вы, наверное, рассчитываете. От Олле Шёстрёма, например, в наших местах не избавишься. Но существуют такие... чуть не сказал – идиоты, которые готовы заплатить состояние за «Таможенный мост» того же Шёстрёма. Или за «Руины Фалькенбергской крепости в тумане».

Иоаким заметил, что сестра с трудом сдерживается, поэтому, чтобы разрядить атмосферу, а главное, не рассердить Окессона, которого он рассчитывал использовать именно так, как тот и предлагал, он вежливо проводил торговца картинами с женой до двери...

На тротуаре под верандой отеля стоял доктор Вестергрэн с сигаретой. Иоаким воспользовался случаем расспросить его, не появилось ли чего-то нового в установлении причин смерти Виктора.

– Так странно, что он просто взял и умер, – сказал он, беря сигарету из протянутой пачки.

– Да, можно и так сказать... Поэтому я и не исключаю хроническое отравление.

– Когда он последний раз обследовался?

– В мае. Двадцать восьмого.

– Какая точность!

– Я прекрасно помню тот день, потому что была страшная жара. Двадцать восьмого был установлен новый рекорд температуры. Я обливался потом, а Виктору хоть бы что. Такие мелочи, как температура воздуха, его не интересовали.

– И ничего странного вы не заметили?

– Странного – нет. Если, конечно, не считать странным, что его физическое здоровье было, как у пятидесятилетнего. Виктор, сказал я ему, я даю тебе еще лет десять. А если ты обзаведешься женщиной и не бросишь играть в теннис, то все пятнадцать.

– Вы хотите сказать, что он мог дожить и до ста?

– Так я думал. У него было образцовое здоровье.

– Я понимаю, что сейчас не время для подобных вопросов, – сказал Иоаким. – Мне самому неприятно об этом говорить, но... самоубийство вы исключаете?

Вестергрэн погасил окурок о подошву и лихим щелчком отбросил его в сторону, что было совершенно неожиданно для уважаемого сельского врача.

– Что я могу вам ответить? Виктор был одним из самых организованных людей из всех, кого я знал. И если бы он решил покончить с собой, он сделал бы это так, что никто ничего бы не заподозрил.

– То есть такая возможность не исключена?

– Думать можно о чем угодно.

Они помолчали. В уголке глаза у доктора блеснула слеза. Иоаким так и не понял, слеза ли это скорби или просто в глаз попал дым.

– Очень странно было делать вскрытие. Я повидал немало мертвецов в своей жизни. Думал, привык ко всему. Но с Виктором было все не так... Он – улыбался. Первый раз в жизни я видел, чтобы покойник по-настоящему улыбался. Можно сказать, что он улыбался всем телом – губы, выражение лица, руки... не знаю, как объяснить.

– Может быть, какой-то наркотик... или лекарство? – предположил Иоаким. Он сообщил, что последняя обезболивающая таблетка уже улетучивается из кровотока. Старый врач и друг отца вполне мог бы ему в этом помочь.

– Я думал и об этом, – сказал Вестергрэн. – Но нет, уверен, что нет... Он улыбался своей картине... Это был настоящий шедевр.

– Я еще не был в ателье, но думаю, вы имеете в виду это загадочное панно Дюрера. Завтра поеду и посмотрю. Дело в том, что у меня сломана какая-то маленькая косточка в голеностопе. Как только я достану рецепт на...

Он не успел закончить, потому что в эту секунду материализовался Семборн с горящим взглядом и тарелкой с тортом в руке. У Иоакима не было никакого желания беседовать с адвокатом о чем бы то ни было, но все пути к отступлению были отрезаны.

– Только пару слов с глазу на глаз, – Семборн взял его за руку и потащил за собой. – Я прошу меня извинить...

Иоаким похромал за ним к набережной. Там-то они могли говорить без помех.

– Извини, что я помешал вашей беседе, но у меня из головы не выходит наша последняя встреча. – Голос адвоката был полон раскаяния. – Должен сразу сказать: ты прав, Иоаким. Я должен считать все мои картины подлинниками, пока не будет доказано обратное.

– Рад слышать. Окессон только что предложил помощь в продаже картин, так что вряд ли тут можно говорить о каких-то подозрениях. И если вы присмотритесь к публике в зале, вы увидите, что здесь полно профессионалов, которые годами слепо доверяли Виктору. Могу поклясться, что с вашим Кройером все в порядке, и еще раз поздравляю вас с самой удачной в жизни сделкой. Мой совет – забудьте ваши сомнения.

– Я приношу извинения, Иоаким. Мы все немного не в себе в эти дни. Бог ты мой, я же знал твоего отца полжизни... Приходи ко мне в контору, как только появится время. Надо разработать стратегию относительно налога на наследство...

Вернувшись на веранду, Иоаким увидел сестру, махавшую ему рукой, – Жанетт хотела, чтобы он присоединился к беседе с ушедшим на пенсию интендантом Стокгольмского музея. Иоаким поискал глазами врача, но тот куда-то исчез. Ему вдруг стало очень грустно. Через всю застекленную веранду тянулись эластичные нити воспоминаний исчезнувшего времени, когда Виктор был жив, когда он был образцом для него, тогда еще совсем юного... Образцом отца и мужчины, с которым сын находился в вечной борьбе и с которым хотел сравняться.

Интендант представился: Хольмстрём из Национального музея... Иоаким вдруг почувствовал приступ настоящего горя, никак не связанного с желанием выпить или принять очередную болеутоляющую таблетку с кодеином. Ему хотелось говорить о Викторе как о живом отце, а не о безжизненном теле в катафалке по дороге в печь крематория в компании Рутгера Берга и его похоронных сотрудников.

– Вы с сестрой были еще совсем детьми, когда я вас видел в последний раз, – сказал интендант. – Отец взял вас с собой в Стокгольм. Мы попросили его сделать для нас одну работу.

– У меня эта поездка почти не сохранилась в памяти. Помню только какую-то из ваших мастерских за городом – огромное помещение с лампами дневного света и антресолями... Для нас, детей, это было похоже на замок.

– Вы бегали сами по себе, – улыбнулся интендант. – Виктор работал целый месяц по десять – двенадцать часов в день, и за все время я ни разу не слышал, чтобы вы жаловались. Помню, я как-то застал вас за столом вахтера с мелками и альбомом для рисования – вы утверждали, что тоже реставрируете картины!

Хольмстрём снова улыбнулся. Он был примерно ровесником Виктора, может быть, чуть помоложе. Незаметный слуховой аппарат... Вся жестикуляция и манера говорить выдавали в нем человека, привыкшего распоряжаться, – уверенного, располагающего, не терпящего возражений.

– Мы рано стали самостоятельными, – сказал Иоаким. У него снова подступил к горлу комок. – А кстати, как вы познакомились с отцом?

– Мы встретились в пятидесятые годы. Он реставрировал плафон Эренштраля в Рыцарском замке. Какая была работа! Потом был государственный заказ – привести в порядок коллекцию в замке Стрёмхольм. Многие полотна были в жутком состоянии. Потрескался грунт, красочный слой деформирован... в начале прошлого века реставраторы явно схалтурили. Ваш отец сотворил чудо. Восстановил утраченные детали. Изобрел совершенно новую технику ретуши. Мы не хотели упустить такой талант и предложили ему работу в музее. Он отказался. Сказал, что будет помогать – но только как фрилансер. Он работал для нас чуть не до конца семидесятых, хотя жил в Фалькенберге.

– А нашу мать вы когда-нибудь видели?

– Нет... – Хольмстрём посмотрел на него странным взглядом. – Виктор был довольно скрытен. Личную жизнь он на работу не брал – оставлял дома.

– Они встретились на выставке в Стокгольме. Во всяком случае, отец так говорил. Она была из очень состоятельной семьи.

– Я слышал о ней, но наши пути никогда не пересекались.

Рядом один из гостей что-то писал в книге соболезнований. Иоаким скосил глаза. «Скоро увидимся, Виктор». Он позавидовал такой невинной вере в жизнь после смерти.

– Смерть никогда не упускает случая прийти неожиданно, – сказал музейный интендант. – Даже если думаешь, что ты к ней подготовился, она все равно приходит неожиданно. В прошлом году умерла моя жена. Мы прожили сорок шесть лет. У нее была хроническая почечная недостаточность с восьмидесяти третьего года. Последние десять лет она умирала... поистине марафонская смерть, если вы понимаете, что я хочу сказать. Казалось бы, я должен был привыкнуть к этой мысли – та, кого я люблю и кто мне так близок, в один прекрасный день меня покинет. И постоянное напоминание – отвратительное жужжание диализной установки дважды в неделю... Но конца все равно не ждешь. Словно натыкаешься на невидимую стену... и... какая это боль!

– Отцу исполнилось бы восемьдесят четыре, – сказал Иоаким. – В этом возрасте люди либо умирают, либо впадают в детство. А он до самого конца был настолько бодр, что я думал, он будет жить вечно. Когда вы его видели в последний раз?

– Двадцать лет назад. На каком то официальном ужине, не помню, по какому поводу. Я очень благодарен, что вы поместили извещение в центральных газетах, а то бы у меня не было возможности попрощаться с Виктором. Непревзойденный профессионал.

– Я все время спрашиваю себя... – сказал Иоаким. – Странно, но раньше я об этом не думал: почему он переехал в Фалькенберг? Он появился в Стокгольме сразу после войны, сделал себе имя, нашел жилье, источник доходов. Он даже умудрился найти друзей, а вы понимаете, как это трудно в маленькой северной стране, где люди стараются держаться друг от друга на расстоянии – в благой вере, что это наилучший способ общения с согражданами. В Стокгольме он главным образом и работал, во всяком случае зарабатывал... И вдруг в шестидесятые годы все бросает... все, что с таким трудом построил. И переезжает сюда, в Фалькенберг.

– Может быть, у него здесь были друзья?

– Мне об этом ничего неизвестно. Я надеялся, что вы или кто-то другой даст мне ответ на этот вопрос. Его самого я спросить не успел...

Интендант музея поправил слуховой аппарат, сидевший у него за ухом, как таинственное насекомое из научно-фантастического фильма.

– Мы с Виктором встречались на профессиональной почве, – дипломатично сказал он. – В личном плане... разве что ужинали вместе пару раз... иногда играли партию в шахматы. Но я слышал, у него в Стокгольме были какие-то проблемы.

– Это что-то новое. Какие проблемы?

– Он старался помочь какой-то художнице выбраться из сложной жизненной ситуации. Кажется, он считал, что для нее будет лучше, если он уйдет с арены.

Это был день сплошных новостей. Загадочный церемониал похорон. Вопросы требуют ответа. Тайное становится явным. Тени появляются и исчезают... но далеко не все. Одна загадка рождает другую, они упакованы друг в друга, как китайские коробочки. Ему следовало бы давным-давно распаковать эти коробочки и поставить их все в ряд перед Виктором, пока тот был еще жив. Почему из всех городов он выбрал Фалькенберг, что за отношения были у него с Эллой, почему он когда-то решил эмигрировать именно в Швецию и что это были за *проблемы* с какой-то неизвестной художницей? Что имел в виду Хольмстрём?

– Виктор никогда не говорил ни о каких проблемах или трудностях, – вслух сказал он. – И я просто не могу представить, чтобы человек отцовского благородства мог нажить себе врагов.

– Честно говоря, я тоже. К тому же все это было так давно! Похоже, он принял решение переехать сюда совершенно спокойно.

– А вы тоже коллекционер?

– Да. Но, конечно, не такой, как ваш отец.

– А вы когда-нибудь видели его коллекцию?

– Как ни странно, нет. Он почему-то не любил о ней распространяться. Все держал в секрете... или скромничал, тут можно по-разному посмотреть. Но коллекция, судя по всему, бесценная. Масса редкостей... и шведские мастера, и зарубежные. Причем в самых разных манерах, как я слышал.

– А каким он был экспертом? Я имею в виду установление подлинности работы?

– Феноменальным... Устроит вас такое определение? Он видел словно бы в четырех дополнительных измерениях, совершенно для нас, смертных, не известных. А мастерство! Виктор владел старинной техникой, как никто. Уникально! Материалы, старинные рецепты пигментов, классический мазок...

– Он не мог ошибиться в подлинности, скажем, Кройера?

– Скагенского художника? Не думаю. В шестидесятые годы Виктор входил в государственную экспертную группу. Они занимались исключительно разработкой новых методов выявления подделок. Мало того, за эти годы он нашел для нас огромное количество шедевров, и мы доверяли его оценке безоговорочно. В основном немецкая живопись девятнадцатого века, но и рококо, и северное барокко. Как-то, помню, он отсоветовал нам покупать Адольфа Менцеля – и картина оказалось фальшивой. В другой раз благодаря ему мы приобрели у частного собирателя в Париже ранее неизвестного Рослина.

– Я понимаю, что мой вопрос звучит странно, но как это все начиналось?

– Мне кажется, он начал покупать картины у эмигрантов сразу после войны. Люди сломя голову бежали в Швецию... брали только самое ценное: паспорт, пачка швейцарских франков, несколько полотен. Он постоянно ездил... Тогда на рынке циркулировало очень много предметов искусства, людям нужны были деньги. Виктор в послевоенной Европе был как бы связующим звеном между коллекционерами и людьми, которые позарез нуждались в деньгах. У него везде были связи... Как-то раз, помню, мы не послушались его совета... речь шла о портрете Эренштраля. Виктор пронюхал, что в Западной Германии есть эта никому доселе не известная работа. Продавец много не просил, но наш старый эксперт по барочной живописи никак не мог решиться. Он свои подозрения не уточнял, но утверждал, что это подделка – близкая к совершенству, но подделка. Виктор не настаивал... он, собственно, никогда не настаивал, но утверждал со всей определенностью, что мы ошибаемся. И по всей видимости, он был прав... За несколько лет до этого он сам разоблачил подделку того же Эренштраля в Финляндии... Никаких сомнений нет, он был выдающимся экспертом... А теперь, господа, хочу вас поблагодарить за в высшей степени достойную церемонию и, конечно, за извещение в газете. Без него я никогда бы не узнал о смерти Виктора, и это мучило бы меня все то недолгое время, что мне осталось.

Старик посмотрел в сторону вестибюля, где за стеклянной стенкой размещалась администрация.

– Я переночую в отеле – не хочу пропустить чемпионат Европы. Златан, похоже, в хорошей форме. А какой вид на Этран из моего номера!

Похороны и будни почти ничем не отличаются друг от друга, думал Иоаким позже, подводя итоги этого насыщенного дня. Но все равно, день похорон требует... как бы ска-

зять... большего порядка, что ли. Он только что попрощался с престарелым интендантом и пошел к буфету взять седьмой или восьмой бокал вина, но тут к нему подошел тот самый лысый господин с клюшкой, взял бутылку и начал внимательно разглядывать этикетку.

– У меня не было случая представиться, – сказал он. – И вдобавок я еще пропустил траурную церемонию – транспорт подвел. Я так понимаю, вы – сын Виктора.

Роста он был небольшого. Судя по глубине морщин, он был едва ли не старше Виктора. Взгляд дружелюбный, трудноопределимый акцент.

– Я приехал из Берлина вчера вечером. Но если паром из Ростка в Треллеборг хоть чуть-чуть опаздывает, вы уже не успеете на поезд. Логистика на железной дороге не та, что была... опоздаешь на какую-то пару минут – и все, жди следующего поезда. К тому же костыль не способствует быстрому передвижению...

– Мне очень жаль, – сказал Иоаким, пытаясь сообразить, каким образом весть о смерти Виктора дошла аж до Берлина.

Но его собеседник, похоже, не собирался давать никаких объяснений. Он прислонил клюшку к стойке, достал очешник из внутреннего кармана пиджака и укрепил на носу очки в тонкой оправе.

– Очень забавно, – произнес он, изучая этикетку на бутылке, – мне показалось на секунду, что это подделка... Грюнер Вельтлинер, несомненно. Но, может быть, от какого-то поставщика подешевле... из Венгрии, скажем... а разлито в бутылки получше, с поддельной этикеткой... Но это не так – вино, похоже, настоящее.

– С чего бы ему быть фальшивым?

– О, Виктор! – рассмеялся старик. – Это его развлекало иногда... пригласить на дешевое вино, разлитое в бутылки от лучших виноделов... «Пойяк» сорок четвертого года, тридцатилетнее «Монроз» или «Боул»... Люди обманываются с радостью...

– Мне кажется, вы не успели представиться... – растерянно сказал Иоаким.

– Какое значение имеют имена?! Имена – это тоже своего рода этикетки... в переносном, конечно, смысле... Ваш отец, например, использовал разные имена, в зависимости от того, где находился... и, самое главное, от того, что за дело ему предстояло.

Потом Иоаким вспомнил, как он тут же отверг мысль, что старик с клюшкой его разыгрывает: странно было предположить, что пожилой и с виду достойный человек подшучивает над усопшим на его похоронах. Скорее всего, старческое слабоумие... полубезумный старикан каким-то образом узнал о поминальной церемонии в отеле и ударился в сенильные рассуждения по поводу всего, что взбредет в голову.

– В Швеции он был, разумеется, Виктором Кунцельманном. А в Германии его чаще всего называли Густав Броннен... Если вспомнить, что в одном и том же человеке часто уживаются самые различные черты, одного имени явно мало. Это было бы просто убожество – всего одно имя... Мы подсознательно это понимаем, не правда ли... откуда тогда два или три имени при крещении, прозвища, клички... имена второй, третьей, четвертой живущих в одном и том же человеке личностей.

Он почесал голень острием клюшки и добродушно улыбнулся.

– У вашего отца было несколько *nom de guerre*³⁷. Как поставщик... как бы это сказать... новообретенных шедевров, вновь открытых работ старых мастеров, он всегда учитывал все – спрос, провинанс³⁸, риск разоблачения. И его имя было безупречным – оно олицетворяло историческую правду, качество... Доверие к нему не знало границ.

³⁷ *Nom de guerre* (фр.) – псевдоним.

³⁸ *Провинанс* – история жизни произведения (имена и клейма владельцев, даты продаж и т. д.).

Что он такое говорит, подумал Иоаким, чушь какая-то... И в то же время все происходящее почему-то не вызывало удивления, словно это и были ответы на те вопросы, про которые он даже не предполагал, что они у него есть.

– Насколько хорошо вы знали отца?

– Вы можете называть меня Георг. Георг Хаман. Когда-то, много лет назад, у нас с вашим отцом был магазин филателии и автографов в Берлине. Мы познакомились еще до войны. Вам это, должно быть, кажется странным. Вы меня никогда не видели и наверняка никогда обо мне не слышали.

У выхода Жанетт беседовала с соседями Виктора. Эрланд Роос одиноко сидел в углу. Похоже, его не устраивала политическая ситуация в Южной Скандинавии. Большинство гостей были знакомы не один десяток лет, они стояли группами, разговаривая о Викторе. Все как всегда, подумал Иоаким. *Нормально*, если в этом слове вообще есть какой-то смысл.

– Виктору тогда было семнадцать, – сказал Хаман. – Наша встреча была довольно драматичной. Я был на несколько лет старше, и мне выпала роль... не знаю, как определить... за неимением лучшего, скажем так: роль ментора. Последний раз мы виделись... – он неожиданно поглядел на наручные часы, – восемь дней и семь часов назад. Я заказал картину и приехал ее забрать. Дюрер. Поддельный Дюрер, скажет невежа. Но ваш отец не успел закончить работу.

– Мне кажется, это глупость – подделывать Дюрера.

– В нормальных условиях – разумеется. Слишком много возникает подозрений. Но не в этом случае. Мне удалось найти покупателя, а тот в свою очередь запасся воистину доверчивым заказчиком.

На какую-то секунду Иоаким понял, почему понятия «головкружение» и «мошенничество» в шведском языке обозначаются одним и тем же словом – *svindel*. Этот двойной смысл имеет глубокие семантические корни, подумал он. Блеф, который заставляет человека терять опору, у него начинает кружиться голова, и он мало что соображает... весь миропорядок рушится...

Они перешли в вестибюль отеля и уселись в кресла. Незнакомец продолжил свой рассказ, в голосе его сквозили минорные ноты. Наконец он спросил:

– Вам, наверное, интересно, почему я все это вам рассказываю. Но если прожить жизнь так, как мы с вашим отцом, непременно начинаешь запутываться в собственной лжи. Правда кажется непреодолимой, вернуться к ней невозможно, то есть помехой правде является сама правда...

Иоаким все еще держал в руке пустой бокал. Он чувствовал себя на удивление трезвым, трезвее, чем когда-либо за много, много лет.

– Я покажу вам ателье отца, – сказал старик. – Завтра у нас будет такая возможность. Думаю, вы и понятия не имели, что оно из себя представляет. Виктор, разумеется, показывал вам то, что хотел, чтобы вы увидели.

Репродукции оригиналов лежали на столе, свидетельствуя о несравненном мастерстве Виктора-копииста. Альбом Дюрера развернут на снимках из Купферштик-кабинета в Берлине и музея Цвингер в Дрездене. Мотив одной из гравюр, изображающей купальню, Виктор скомбинировал с ксилографией под названием «Христос в Гефсимане». Он написал мотив маслом, в манере раннего Дюрера. Сцена имеет ярко выраженный гомоэротичный характер: несколько обнаженных юношей в купальне. На заднем плане один из них наклонился к партнеру для поцелуя. Тела написаны до жути великолепно, но лица отсутствуют, разве что один из купальщиков имеет явное сходство с Виктором... На мольберте рядом – халландская жанровая картина из офиса Семборна... Копия, разумеется.

– Какое мастерство, а? – сказал Хаман. – Жаль, что Виктор не успел. Заказчик был бы счастлив выше головы.

– И сколько ему надо было времени, чтобы закончить? – спросил Иоаким.

– Неделю, чтобы завершить картину. И еще несколько дней кропотливой работы, чтобы состарить ее на пятьсот лет.

Угольные карандаши рассортированы по банкам. Куньи кисти, барсучьи кисти... Небольшой столик, когда-то стоявший у них в детской, заставлен баночками с пигментом и еще чем-то, что легче всего описать в бакалейной терминологии: вино, уксус, яйца для темперы, льняное и ореховое масло, деготь. На стене висели наброски мелом, очевидно, к картине Дюрера.

– Натуральный мел... любимый материал вашего отца, – сказал Хаман, проследив взгляд Иоакима. – Химический состав тот же, что и у старых мастеров, поэтому возраст определить невозможно. Мел, как вы понимаете, и тогда был мелом.

– Любимый материал фальсификаторов, вы хотите сказать?

– При условии, что вы найдете бумагу соответствующего возраста... Найти старую не пигментированную бумагу не так трудно – один визит к хорошему букинисту. Форзац Библии восемнадцатого века многим фальсификаторам помог наскрести на квартирную плату. Но если вы хотите работать *aux trois crayons*³⁹, а это уже совсем другие деньги, тогда начнутся трудности. Зеленую бумагу раздобыть очень трудно...

Полкомнаты занимала мастерская с самыми разными механизмами и инструментами. Электропила со стулом для изготовления рам напоминала модернистскую скульптуру, установленную на металлическом постаменте. Над верстаком, в металлическом шкафчике, к которому Иоаким у раз и навсегда было запрещено приближаться, содержались различные химикаты: сульфат железа, витриол, гуммиарабик. Угрожающие канистры с черепом – порошок свинцовых белил.

– А кто заказчик?

– Известный финансист и продавец картин. Жулик до мозга костей. И к тому же с контактами в Китае. Новые китайские богачи просто помешаны на классической европейской живописи.

У стены на длинных полках стояли книги по искусству. В свете последних новостей от них исходила аура махрового жульничества: каталоги музеев и выставок, монографии о художниках, обзоры Ташена и Лоуренс Кинг. Пачки старинных бумаг – реставрационная техника, рецепты красок, справочники на полдюжине языков, полные описания работ сотен художников, учебники материаловедения для художников... вот, например, знаменитая рецептурная книга красителей Ченнини или «*Le Memorie di un Pittore di Quadri Antichi*»⁴⁰ Федерико Йони.

– Он обладал феноменальной зрительной памятью, – сказал Георг. – Тридцать секунд перед работой Менцеля в Национальной галерее в Берлине хватало, чтобы он запомнил полотно на всю жизнь, причем в мельчайших деталях. В книгах он только искал сведения о применении материалов.

Он поднял клюшку и показал наконечником на длинный ряд справочников.

– Вот, к примеру, монументальный труд Бенезита «Словарь художников, скульпторов, дизайнеров и граверов». Виктор говорил: «Если чего-то в этой книге нет, значит, этого и на самом деле нет».

У Иоакима с детства застряла в памяти картинка, как отец сидит, углубившись в эту книгу, в снопике света от мансардного окна, и во взгляде его что-то такое, что заставляет

³⁹ *Aux trois crayons* (фр.). – тремя мелками.

⁴⁰ «Памятка для художников о старинных картинах» (ит.).

их, детей, держаться подальше... Им кажется, что он совершает какой-то тайный ритуал... Оказывается, все так и было, только немножко по-иному, чем они себе воображали. Все представлялось теперь Иоакиму в новом свете.

На столе – развернутый фолиант. На полях слева – изображения печатей известных коллекционеров. А совсем рядом, в маленьком запирающемся металлическом сундучке, – штук пятьдесят печатей, каждая со своей подушечкой.

– Виктор ничего не оставлял на волю случая. Ведь при малейшем подозрении, если что-то не так, покупатель может обратиться за экспертизой... Уже в последние дни он скопировал подходящую печать из «Les marques de collection de dessins et d'estampes»⁴¹. Собственно, именно я попросил его создать внушающий доверие провинанс для моего маленького заказа...

– Я помню этот сундучок, – сказал Иоаким. – Папа говорил, что там лежат деньги... он называл его кассой.

На развороте книги, в самом верху, красовался герб, представляющий двух единорогов.

– Знаменитое коллекционное клеймо барона Милфорда! Возможно, Виктор предназначал его для моего Дюрера. Или эстампиль⁴² П. Дж. Мариетта с роскошным львом. Посмотрите, здесь клейма всех крупных коллекционеров: Эрл Спенсер, граф Селоцци, А. П. Леру, Барди, Косуэй – все позапрошлого века, еще до первых больших инвентаризаций... Подлинное по всем признакам клеймо на обороте подлинного по всем признакам старинного полотна успокаивает покупателя и внушает ему доверие.

Георг закрыл книгу, взял свой костыль и захромал к нише, где стоял сейф. Иоаким двинулся за ним, тоже хромя, – что еще ему оставалось делать? Старик наверняка решит, что Иоаким его передразнивает.

– Сейчас я вам покажу, что осталось от знаменитой коллекции вашего отца, – сказал Георг Хаман, набирая комбинацию на замке. – Это он не успел уничтожить...

В сейфе оказался ящик. Хаман вынул оттуда пачку рисунков. Стараясь не дышать, кончиками пальцев взял верхний лист. Этюд в стиле рококо, *aux trois crayons*, на зеленой бумаге. Несколько амуров на облаке.

– Подлинный лист восемнадцатого века. В цвете. Достать невозможно. Набросок к фреске Буше. Никакой подписи не требуется – Буше не затруднял себя сигнатурами на подлежащих уничтожению набросках. Эксперт должен полагаться на стиль и на возраст бумаги, а дальше вещь переходит в другой юридический статус. Покупателю предстоит самому определить, подлинник это или нет, и он наверняка сочтет его подлинником, если ему помогает эксперт с безупречной репутацией.

Иоаким плюхнулся в кресло. Ему вдруг показалось, что даже и эта мебель – подделка, как и старик перед ним... иллюзия, фальсификация действительности, созданная с натуры, но существующей только в воображении... Вот он сидит в подделанном наброске кресла с подделанным наброском загадочного старикана, знакомого его отца. А отец, в свою очередь, тоже подделанный набросок кого-то совсем другого, не того, кого знал Иоаким... У него было такое чувство, что все окружающее, в том числе и он сам, вот-вот изойдет дымом и исчезнет.

– Думаю, ваш отец сохранил эти рисунки из сентиментальных соображений, – сказал Георг. – Виктор встретил своего первого заказчика в Стокгольме в Национальном музее. Они подошли к одной и той же картине Буше... Эстонец по фамилии Туглас. Очень известный в то время реставратор. Он очень много значил для вашего отца...

⁴¹ «Печати коллекций картин и эстампов» (фр.).

⁴² Эстампиль – коллекционерская печать, удостоверяющая принадлежность гравюры, рисунка и т. п. определенной коллекции.

Он нагнулся и достал из глубины сейфа маленькое полотно маслом, представляющее женщину на берегу.

– Кройер? – спросил Иоаким.

– Есть еще два таких. У него был период, когда он специализировался на датчанах... вернее, на втором золотом веке датской живописи, поскольку ему пришлось реставрировать очень много таких работ. Проблема заключалась только в поисках доверчивых покупателей.

Георг достал еще два полотна, тоже, по-видимому, написанных в Скагене.

– Первый международный заказ пришел Виктору как раз из Копенгагена, из собрания Хиршпрунга.

– Где он всему этому научился?

– Для начала – в Берлине. Там он сделал свои первые фальсификации. Но война начала ставить нам палки в колеса.

– Мой отец был в Англии во время войны. Во флоте. А под конец ему не повезло. Оказался в немецком плену.

Георг погладил покрытый старческими пятнами лысый череп.

– Ваш отец никогда не покидал Германию. В последние годы войны он и в самом деле был в лагере. Его осудили за то, что тогда называлось содомией. Такой приговор – разврат с мужчинами – означал при нацистах верную смерть. Но Виктору повезло... можно сказать, подделки спасли ему жизнь... Все в жизни взаимосвязано, – сказал Георг и посмотрел на фальшивого Дюрера. – За каждым мазком скрывается личная история. Дюрер, Буше, Кройер... После войны у Виктора был роман с молодым коллекционером в Стокгольме. Виктор рассказывал, что у того в спальне висела копия дюреровской «Купальни».

Он достал из сейфа последнюю картину. Это была темпера, примерно шестьдесят на шестьдесят, написанная на старинной доске. На опушке в тени пинии двое юношей перебрасываются яблоком. Один из них, несомненно, похож на Виктора. Другой на голову выше. Черные, блестящие, похожие на лесных слизняков локоны, очень красивое лицо.

– Картина изображает вашего отца и его первую любовь. Но подписана она Бацци.

– Кем, сказали вы?

– Джованни Антонио Бацци. Очень известная фигура Ренессанса. Если вы спросите меня, я скажу, что он не слабее Микельанджело. Он избрал себе псевдоним Il Sodoma, Содомист. Были эпохи, куда более терпимые к сексуальным меньшинствам, чем та, в которой довелось жить мне и вашему отцу... Но эта подделка – само совершенство! Я бы сам мог ее купить, если бы у меня было много миллионов и я бы не знал, что это работа вашего отца.

Иоаким вжался в кресло. Он тосковал по ситодону.

– Вы сказали, что отец попал в лагерь потому, что был гомосексуален. И ему в чем-то повезло...

– Вот именно. Мы оба оказались не по своей воле вовлечены в историю... так называемая «операция „Андреас“». Может быть, вы слышали краем уха, как нацисты собирались развалить британскую экономику при помощи фальшивых фунтов стерлингов? Лучших фальсификаторов со всей Германии собрали в одном месте, чтобы они работали фальшивомонетчиками. Несколько человек были гомосексуалами.

Я вам не верю, хотел сказать Иоаким. Но вместо этого, в наступившей внезапно тишине, в странной дыре времени, куда, как ему вдруг показалось, уместилась вся жизнь его отца, он тихо спросил:

– А от чего умер мой отец? Его врач утверждает, что от отравления...

– Кто знает? Вряд ли... Он слишком хорошо разбирался в материалах и был очень осторожен... Скорее всего от старости... или от воспоминаний. Некоторые из них были слишком тяжелы, чтобы все время носить их с собой.

– Он уничтожил массу картин в квартире перед смертью. Я не могу понять почему, пусть даже речь идет о подделках.

Георг улыбнулся ему тепло и ласково, как улыбаются детям самых дорогих друзей. И Иоаким понял – да, этот человек действительно был очень близок с его отцом.

– Ваш отец, как это ни парадоксально, был невероятно совестливым человеком. Думаю, он заботился о своей посмертной репутации.

– А что вы знаете о моей матери?

– Почти ничего. Там какая-то запутанная история.

Георг посмотрел на прислоненные к сейфу картины.

– Я почти уверен – то, что вы перед собой видите, можно обратить в хорошие деньги, если найти правильного покупателя. Думаю, это все, что осталось от вашего наследства. Если бы я не дал себе слово уйти на пенсию, я бы вам помог продать эти картины. Но мое сотрудничество с Виктором с этой минуты завершено.

2

Странно, за несколько минут до смерти Виктор Кунцельманн вспомнил именно этот короткий марш-бросок шестьдесят четыре года назад. От грузовика до ворот лагеря. Приближающийся конец жестоко выудил этот эпизод из сумерек памяти, как пасторальную открытку из ада.

Стояло жаркое августовское утро. Он с необыкновенной ясностью вспомнил песнь дрозда и стаи ворон, вычерчивающих в небе каллиграфические узоры.

Их возили по кругу, сообразил он, чтобы они потеряли ориентацию. Из исправительной тюрьмы в Гамбурге ехали больше суток, но на рассвете ему удалось сквозь дырку в брезенте выглянуть наружу, и он понял, что они приближаются к Берлину...

Он шел в строю к комендатуре, не решаясь повернуть голову, и вдыхал знакомые запахи бранденбургских каштанов, шиповника, бурого угля и жаркого континентального лета. Запахи жизни, которая никогда уже к нему не вернется.

Ворота лагеря приоткрылись, они миновали сторожевую вышку. В ее тени стояли вооруженные эсэсовцы. Потом за ними закрылись еще одни ворота. Жара была удушающей. Она давила на него, как будто его завернули в свинцовое одеяло, как будто гравитация поднатужилась специально, чтобы досадить именно ему. Кто-то крикнул «Хальт!». Время испуганно вздрогнуло. Они увидели виселицу с повешенным, словно выгравированную на синестальном небе. Казнь, судя по всему, совершилась уже давно. Распухшее, с почерневшей кожей тело было совершенно неподвижно, над ним заинтересованно кружились вороны.

За виселицей простирались бараки. Низкие, выкрашенные синей краской деревянные сооружения с открытыми по случаю жары окнами. Виктор мысленно поинтересовался, который сейчас час, но тут же понял, что он вряд ли мог бы с уверенностью назвать даже год. Ощущение времени здесь исчезло, календарь превратился в аморфную кашу расплзающейся хронологии. Будущее уже позади, а прошлое принадлежит будущему.

На аппельплацу стояли конвоиры с овчарками... Надо всей этой сценой словно витал дух Ван Гога: кричащие, клаустрофобические цвета... мучительные, как взгляд на солнце.

С запада к лагерю примыкал большой фабричный комплекс. Зона безопасности с двойным рядом проводов под напряжением. Множество объявлений предупреждало, что при приближении заключенного к ограде охрана будет стрелять. Это подчеркивало абсурдную логику лагерной жизни. Заключенные должны умирать по правилам, а не кончать жизнь самоубийством, бросаясь на провода высокого напряжения.

Сторожевая вышка напоминает деревенский вокзал, подумал Виктор, в ней есть что-то идиллическое, сельское, и еще эти цветы в окне второго этажа... Там происходила какая-то жизнь, кто-то нес чайник из одной комнаты в другую, но с балкона торчало дуло пулемета.

На крыльце появился комендант с мегафоном и объявил, что они находятся в концентрационном лагере. Тот, кто будет хорошо работать, может рассчитывать на хорошее обращение. Тех же, кто нарушает правила, отлынивает от работы, симулирует болезни, нарушает дисциплину, что весьма типично для таких подонков, как они – уголовники, жидолюбы, коммунистические свиньи, гомосексуалы, – тех ждет суровое наказание.

Виктор не слушал. Вот уже три месяца к его тюремной робе был пришит розовый треугольник, нарушение параграфа 175... невероятно, но благодаря удаче, случаю, недосмотру судьбы он был все еще жив.

Очевидно, только что прозвучал какой-то сигнал; отовсюду поползли ручейки заключенных в полосатых робах, истощенных до скелетоподобия, в чесотке, в лишаях, бритых наголо, вшивых, покрытых высыпаниями, похожими на брызги от приближающегося кадила

смерти... ручейки сливались в притоки, притоки – в реки, заполняя плац тихим приливом отчаяния.

Прямо за ним стоял узник, он знал его имя: Нойманн, коммунист, он прибыл тем же транспортом, что и Виктор. Они обменялись в дороге несколькими словами... Виктор с трудом понимал, что тот говорит: Нойманну в отделении гестапо в Альтроне молотком выбили зубы. Речь его напоминала странную смесь шипения и чмоканья на твердых согласных, словно бы слова были маленькими острыми камушками и ему приказали разжевать их и выплюнуть в песок.

Виктор не знал, почему их везли вместе. У них даже роботы были разные: у Нойманна пришит красный треугольник: политзаключенный. У остальных треугольник зеленый – профессиональные преступники, возможно, убийцы... все что угодно.

Он не понимал логики. Он не понимал, почему его осудили по параграфу 175, «гомосексуальный разврат», хотя суд мог бы разделиться с ним гораздо короче по двум другим статьям: «подделка документов» и «уклонение от воинского долга». Но вместо этого ему пришили розовый треугольник и переправили в гамбургскую тюрьму. Либо провидение, рассудил он, либо какой-то неизвестный мне план.

Переключка продолжалась довольно долго. Жара набирала обороты. Удивительно, что никто не упал в обморок. Должно быть, их удерживает страх смерти, подумал Виктор. Но лишь до определенной границы... потом наступает страстное желание покончить разом с мучениями, голодом, жарой, стужей, недосыпом, слабостью, слезами... отсутствием слез, безнадежностью. Достаточно было на утренней переключке бессильно опуститься на колени – и палачи делали свое дело. Они особенно ожесточались, когда видели даже такие жалкие проявления свободной воли. Они ненавидели самоубийц – рассматривали их как беглецов.

Слева от него в строю стояла группа заключенных из ближайшего барака. Лицо одного из них показалось Виктору знакомым... Но нет, не может быть, решил он, это, должно быть, жара, пришедшая с востока, из России, где, по слухам, немецкая армия застряла в неоглядных степях. Слухи оптимистически утверждали: война проиграна, и прорыв фронта – всего лишь вопрос времени.

Колонна заключенных направлялась к какому-то сооружению, напоминающему беговую дорожку. Он присмотрелся – нет, не беговая дорожка, а своего рода выставка различных видов дорожного покрытия: политый битумом гравий, щебенка, песок, булыжная мостовая, брусчатка, бетон... Эта псевдобеговая дорожка шла полукругом вокруг апельплаца.

– Они испытывают сапоги для армии, – шепнул ему сосед, тот самый, показавшийся ему знакомым, – смотри, чтобы не попасть в штрафники, там и дня не протянешь. Они нагружают рюкзаки камнями и заставляют маршировать, пока не склеишься. А потом анализируют износ подошв.

На беговой дорожке рядами по пять человек выстроились изможденные люди с рюкзаками за спиной и в сапогах вермахта. Их погнали вперед плетью и прикладами. У многих подгибались ноги.

– Новенький? – прошептал сосед. Он, казалось, никак не реагировал на происходящее. – Я видел, вас грузовик привез. Вы, наверное, важные птицы... никого не били, по крайней мере. Не пугайся, мне поручено узнавать новости у вновь прибывших и распространять их... по ту сторону оцепления... Меня зовут Рандер. Найдешь меня в прачечной.

Виктор пожал плечами. Провокатор? Или просто интересуется молодыми парнями? Лагерная жизнь порождает куда больше гомосексуалов, чем все клубы Берлина, вместе взятые.

– Мы пытаемся наладить сопротивление, – прошептал Рандер, почти не шевеля губами и глядя на конвоиров. – Нам нужны люди оттуда. Те, кто видел что-то в других закоулках

системы... молодые люди, у которых есть шансы выжить. Если будет возможность, приходи в прачечную.

Переключка закончилась. Заключенные строем двинулись за пределы лагеря – Виктор решил, что на фабрику, там их, наверное, используют на принудительных работах. Подул слабый, не приносящий прохлады ветерок. Казалось, он вдует жар прямо в и без того раскаленные бронхи.

Колонна, в которой был Рандер, развернулась кругом и направилась к баракам. Виктор сделал усилие и вспомнил, где он его видел: много лет назад в баре на Паризер-плац, перед переполненной пепельницей и с рюмкой в руке. Рандер был не только гомосексуалом, он был еще и активистом давно запрещенной к тому времени компартии. Виктор удивился, как он все это вспомнил. Плавное течение времени уже не относилось к разряду само собой разумеющихся понятий....

В восточной части лагеря был выделен небольшой участок, своего рода лагерь в лагере. Четыре выкрашенных не в синий, а в зеленый цвет барака стояли по квадрату, ограничивая небольшой двор. Недавно высаженные по периметру деревья отгораживали эти бараки от остальных строений. На входе даже зеленел газон. Окна зачем-то закрашены белым... Только один вход, остальное обнесено колючей проволокой. После переключки всех, кто прибыл с Виктором, погнали на санитарную обработку. Охранники оставили их ненадолго, и Виктор успел расспросить, за что осуждены остальные. Оказалось, все они работали в типографии, попались на производстве поддельных билетов денежной лотереи. Из отгороженных бараков доносился странный звук, который будет преследовать Виктора десятилетиями, – ухающие равномерные удары печатного пресса. Один из охранников сунул голову в душевую и не предвещавшим ничего хорошего мирным тоном попросил поторапливаться.

В соседней комнате им выдали одежду, к его удивлению, гражданскую. Уже много месяцев он не ощущал прикосновения к телу чистой хлопковой ткани, но тут же инстинктивно понял, что одежда взята у мертвых. И у него появилось жутковатое чувство, что он следующий на очереди.

Их зарегистрировали в канцелярии и отвели в барак. Прибранная комната, койки на удивление чистые и, похоже, удобные, даже застелены. У стола конвоиры играют в карты. В углу патефон, в звуки музыки ритмически вплетаются удары пресса с той стороны двора...

Вскоре их привели в конторское помещение, где за столом, с сигарой в зубах, сидел майор СС. Он объяснил им, что с этого момента им доверяют государственную тайну и они под угрозой смерти не имеют права ее разглашать. У Виктора все время было чувство, что это какой-то розыгрыш у врат ада. Что все, что происходит, составляет часть дьявольской шутки, и его собственное сознание после многих месяцев психических испытаний начинает подыгрывать этому розыгрышу: он уже встречался с этим майором. Крюгер. Полгода назад Виктор по его просьбе устанавливал подлинность каких-то документов.

Через приоткрытую дверь видна была мастерская. За длинным столом, согнувшись, сидели заключенные, все в гражданском, но с наручными повязками. Странно, но конвоиров видно не было. Ни окриков, ни собачьего лая, ни глухих ударов дубинками. Никто, казалось, не принимал его розовый треугольник за повод избить его, зажать мошонку рукой в перчатке – только ради удовольствия посмотреть, как его рвет от боли, так было в Гамбурге... При этом его осыпали насмешками, называли педрилой, фикусом⁴³, вырождаком, недочеловеком, всем, что могли отыскать в своем убогом лексиконе.

Крюгер притворился, что не узнал его. Он разговаривал совершенно нормальным тоном, даже выразил сожаление по поводу неприятного инцидента с зубами Нойманна...

⁴³ *Фикус* – уничижительная кличка гомосексуалов.

попросил не забывать, из какого кошмара они вырвались, поэтому он имеет право ждать от них определенной признательности. Он пообещал достойное питание, дневной рацион сигарет, возможность получать и отправлять почту – после военной цензуры, разумеется. А когда война кончится, добавил Крюгер, они займут достойное место в пантеоне победителей, поскольку их главная задача – помочь Германии выиграть войну.

Он сделал тщательно продуманную паузу. Вы были избраны исключительно благодаря вашему выдающемуся мастерству профессиональных фальсификаторов, объяснил он, и вы должны сослужить отечеству важную службу. Вы будете делать фунты стерлингов. Фальшивые фунты стерлингов. Миллионы фальшивых фунтов стерлингов. Наконец-то ваша преступная деятельность послужит благой цели.

Заклученный, которому было поручено ввести их в курс дела, представился: Вильфред Шпенглер. Он здесь с февраля 1942 года, с самого начала. Их тогда было не более двадцати. Все граверы. Крюгер собрал их в концлагере Заксенхаузен к северу от Берлина. В основном это были евреи из Бухенвальда... никто из них понятия не имел, что их ждет. Основное производство и сейчас в Заксенхаузене. Но с тех пор, как воздушное господство над Германией окончательно перешло к союзникам, руководство СС решило из соображений безопасности рассредоточить производство. Выбор пал на небольшой лагерь к западу от Потсдама, Хавеланд, где они и находятся. Самого Шпенглера перевели сюда полгода назад. Заклученные здесь – исключительно немецкие фальшивомонетчики, лучшие из лучших, со всех концов страны.

В первом же помещении, куда их привели, вдоль стен стояли метровые штабеля бумаги с напечатанными ассигнациями – по четыре на лист. Человек десять сидели за длинным столом и нарезали их вручную. Они укрепляли бумагу на рейшине и аккуратно отрывали по стальной пластинке. Это важно, объяснил Шпенглер, края с трех сторон должны слегка махриться. Четвертая сторона абсолютно ровная, это одно из требований Банка Англии.

...Комната освещена мощными лампами, на полке жужжит вентилятор. Все тщательно прибрано, даже по-своему уютно. Двое десятников собирают готовую продукцию. У короткой стены – четыре сундука, заполненных готовыми деньгами. Миллионы фунтов, вспомнил Виктор.

Полагалось бы удивиться, подумал он. Все это секретное предприятие, поддельные деньги, сигареты в рационе вместо казни... Похоже было, что он, Виктор Кунцельманн, находится в эпицентре шторма, где всегда царит полный штиль, и временно вне опасности, по крайней мере в ближайшем будущем. Он понял наконец, почему он сюда попал, почему он выжил в каталажке, да еще под чужим именем, и даже понял, почему его арестовали в Тиргартене четыре месяца назад.

Оказывается, полиция следила за ним гораздо дольше, чем он мог предположить. Они знали о нем все, знали обо всех его подделках – документов, продуктовых карточек, марок, картин, знали обо всей его и Георга Хамана деятельности. И тюремное заключение в Гамбурге было своего рода карантином. Даже индульгенция Германа Геринга, выписанная на его имя, спасти его не могла. За всем этим стоял Крюгер.

Подделки сами по себе никакой ценности не имеют, подумал он. Искусство, так же как и эти фальшивые ассигнации, которые на его глазах упаковывают в ящики, приобретает ценность, только когда люди начинают в него верить. Знание, что человек устроен именно так, изменило в свое время ход его мыслей и сделало его блистательным фальсификатором. Люди хотят верить в лучшее будущее и становятся заложниками этой веры... надо только прости-мулировать их отчаянное желание почувствовать разумность мироустройства. Тогда увиденное становится подлинным только потому, что *кажется* подлинным... вся жизнь основана на вере в подлинность бытия. Вот он и стал выдающимся специалистом по введению

людей в соблазн *верить*, и, словно в наказание за этот жизненный выбор, судьба, иронически ухмыляясь, привела его именно сюда...

Они прошли в следующее помещение, где за подсвеченными снизу столами сидело человек двенадцать рабочих. Здесь проверяется качество, разъяснил Шпенглер. Ассигнации сортируют на четыре класса. Неудачные экземпляры уничтожают. Крюгер давно еще вместе с главным гравером лагеря, профессиональным фальшивомонетчиком, разработал соответствующие стандарты.

Только сейчас Виктор обратил внимание, как громко и вдохновенно говорит Шпенглер, почти кричит, и это не из-за шума печатного станка или звуков патефона. Он догадался почему. Страх. Даже здесь, невзирая на сигареты, музыку, невзирая на иллюзию, что они живут почти нормальной жизнью, делают почти нормальную работу, невзирая на их гражданскую одежду... все это, понятно, задумано, чтобы внушить им мысль, что они не пленники... несмотря на это, они все на волосок от смерти. И увлеченный профессиональный тон Шпенглера предназначался не им, а людям СС, невидимым слушателям. Они могли в любой момент появиться в мастерской.

Нет, должно быть, он понял причину этого пафоса по контрасту, когда Шпенглер вдруг понизил голос и ответил им на незаданный вопрос: куда идет их продукция? Один из десятников, завоевавших доверие Крюгера, все с тем же хорошо сыгранным энтузиазмом утверждал, что чемоданы посылают в немецкие посольства в союзнических и нейтральных странах. Они идут как диппочта и не подлежат таможенному досмотру. Что с деньгами делают дальше, он не знает, возможно, раздают агентам, и те отмывают их через банк.

Шпенглер снова заговорил в полный голос. Виктор так и не понял – неужели он и в самом деле доверил им какую-то тайну? Теперь Шпенглер ударился в подробности техники ретуши, рассказал о ювелирной работе с печатью и орнаментом – на подлинных фунтах, выпущенных Банком Англии, они часто не идеально резкие, поэтому и здесь граверы должны быть чуточку небрежными.

В следующей комнате стены были обиты звукоизоляцией, сюда шум печатного прессы не проникал. Вообще ничего не было слышно, кроме тихого поскрипывания граверных игл по медным пластинам. Кое-кто из мастеров поднял голову и кивнул вошедшим, другие, похоже, их даже не заметили... Да, почти наверняка: Шпенглер, когда перешел на полупшепот, хотел, чтобы сказанное осталось между ними, потому что сейчас он, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из охраны, снова понизил голос. Есть еще планы производства долларов, прошептал он. Гиммлер приказал ускорить производство, но пока результаты так себе. Современные американские методы светопечати очень трудно воспроизвести на немецких станках. Впрочем, пробную партию запустили, негативы отретушировали. Несколько недель ушло на мелочи: искорка в глазу Джорджа Вашингтона, тень на знаках отличия на вороте мундира генерала Гранта, складка на манжете Авраама Линкольна. Все должно быть идеально точно, объяснил Шпенглер; подделку можно распознать по минимальной нерезкости, по отсутствию микроскопической, невидимой невооруженным глазом детали. Здесь Крюгера не обойдешь. Если ассигнации не будут соответствовать требованиям, можно считать, что вас уже нет в живых. Но есть куда более безопасный метод саботажа, он разъяснит попозже, может быть уже вечером, после отбоя, когда их запрут в барак.

Система была – не подкопаться, понял Виктор чуть позже. Крюгер и его подчиненные продумали все до мелочи. Соответствие номеров, даты, совпадающие с каталогами Банка Англии. Все цифровые коды расшифрованы агентами, за много лет до этого внедренными в английскую банковскую систему. Были обнаружены даже намеренно допущенные ошибки – своего рода ловушки. Короче говоря, обнаружить подделку было фактически невозможно – если только не допустить исчезающе малую вероятность, что у кого-то одновременно окажутся в руках фальшивая и поддельная купюры с одним и тем же номером.

В базовом лагере в Заксенхаузене Крюгер даже организовал специальную «булавочную команду». Лондонские купцы имели привычку скалывать деньги булавками в аккуратные пачки, прежде чем отнести в банк. Поэтому группа необученных заключенных занималась только тем, что перед упаковкой и отправкой прокалывала в ассигнациях маленькие дырочки. Им же было поручено слегка потереть деньги золой, чтобы создать иллюзию, что они уже побывали в обороте...

Они добрались наконец до типографии. Прессы не работали. Поодаль стоял круглый репродуктор. Хриплый голос министра пропаганды вещал что-то о жертвах, которые обязан принести немецкий народ, чтобы выиграть войну. Виктор до сих пор не был уверен – неужели Шпенглер и в самом деле пытался призвать их к саботажу? И если да, то почему? Он вспомнил заключенного на плацу, Рандера. Неужели все это входит в проверку – зачем? В Берлине, в барах, в парках – Монбизу, Тиргартене, Хасенхайде, – он вполне мог бы разоблачить провокатора, но здесь его интуиция не работала. Может быть, Шпенглер говорил о чем-то другом, просто он его неправильно понял. Недосып, недоедание, телесные недуги взяли верх над сознанием Виктора Кунцельманна. Все сплошная иллюзия – искусство, деньги, это проклятое место, даже немецкий язык... все только иллюзия, уж во всяком случае с тех пор, как Гитлер и его подручные пришли к власти.

– А откуда бумага? – спросил он.

– С заводов в Касселе. Типографские краски от Хуго Шмидта в Берлине. Клише, как и материалы для гальваники, делают на химико-графическом заводе РСХА во Фридентале. СС даже не позаботилась убрать с упаковок собственные печати. Нас все равно убьют, – прошептал Шпенглер, – как только война кончится и наша работа станет не нужна. Так и будет, сколько бы Крюгер ни пытался заморочить нам голову...

Они вернулись в спальное помещение. Десятник показал им их койки и коротко объяснил, как будет выглядеть рабочее расписание. Но Виктор не слушал. Мысли его были далеко – на Горманнштрассе, в магазине филателии и автографов, в их с Георгом Хаманом магазине. Если его подозрения имели под собой основания, Георга тоже должны были взять, если, конечно, ему в последнюю минуту не удалось скрыться.

В беспокойные годы после Первой мировой, когда развалились и русская, и германская империи и никто, похоже, особенно по ним не горевал, когда страны Балтики избавились наконец от своего могущественного восточного опекуна, когда экономический кризис уничтожал ранее нажитые состояния так же легко, как создавал новые... в эти годы мать Виктора, Беатрис Кунцельманн, покинула город, где она родилась и выросла, – столицу Литвы Каунас⁴⁴.

Ее муж, Максимилиан Кунцельманн, был страховым агентом. В десятиные годы он сколотил приличное состояние на страховании русских пароходств. В газете, попавшейся Виктору много лет спустя, было написано, что Максимилиан Кунцельманн был убит собственными слугами, подстрекаемыми большевиками к революции, а его жена на седьмом месяце беременности была вынуждена бежать в город, куда стекались в то время изгнанники со всей Европы: Берлин.

Она родила своего первого и единственного ребенка в зале ожидания больницы Шарите девятого ноября 1920 года. Эта дата послужила предметом бесчисленных изысканий нумерологов, настолько часто она была связана с драматическими событиями в немецкой истории. Девятого ноября 1918 года была провозглашена Веймарская республика, в этот же день в 1932 году провалился подготовленный Гитлером мюнхенский путч, девятого ноября 1938 года – Хрустальная ночь, а через полвека, девятого же ноября, пала Берлинская стена. И

⁴⁴ С 1919 по 1939 г. столицей был Каунас. Столица современной Литвы – Вильнюс.

Виктор, зная о мистических свойствах этой даты, не особенно удивлялся, наблюдая осенью 1989 года за круглосуточным телевизионным репортажем о событиях, навечно вошедших в мировую историю.

Падение его матери по социальной лестнице было даже не падением, а обвалом, возможно, даже опередившим обвал немецкой марки. Она, превратившись из супруги преуспевающего каунасского буржуа с личным шофером и дорогими привычками в нищую берлинскую вдову, перебивающуюся случайными заработками, заболела и умерла. В свидетельстве о смерти было написано, что она скончалась от истощения в ночлежке в легендарном берлинском квартале Шойненфиртель, где жила беднота. Виктору едва исполнился год. Соседи обнаружили тело только через сутки; говорили, что Виктор остался в живых только потому, что сосал грудь умершей матери. У нее не было никакой родни. Мать ничего после себя не оставила – ни письма, ни фотографии... Он ничего о ней не знал, не помнил ее, и спросить было не у кого. Он был человеком без семейной истории...

Берлин в начале двадцатых был одним из самых бедных городов Европы. В трущобном районе, где Беатрис Кунцельманн провела последний год своей жизни, ловили и ели бродячих кошек. Церковь и благотворительные организации делали все, что могли, чтобы позаботиться о беспризорных детях, по крайней мере, обеспечить их крышей над головой. Виктору повезло – он был одним из сорока несчастных, кто получил место в детском доме при больнице Святой Хедвиги на Гроссе Гамбургерштрассе в Митте.

Этот квартал жители называли Кварталом Толерантности. Три конфессии жили здесь в мире и согласии: берлинские евреи шли в синагогу на углу Ораниенбургерштрассе, в Софиенкирхе шла лютеранская служба, а рядом расположилась католическая больница при монастыре с небольшим детским домом, где и рос Виктор.

Первые шесть лет его жизни были окутаны мраком, лишь изредка освещаемым вспышками памяти: строгая аббатисса Матьесен, похожая на непонятого ангела, шуршание серых шерстяных одежд монахинь, проповеднические интонации воспитательницы. Помнил он и добродушного сторожа Кернера, у него в клетке жили два попугая, и квартального пекаря с его примитивным немецким – он привозил детям хлеб. Католический епископ Берлина приезжал на каждое Рождество и привозил подарки. И на всю жизнь запомнил он самоотверженную любовь послушниц, занимавшихся их воспитанием: сестру Элизу, она пришепetyвала и легко ударялась в слезы, сестру Агнес, у нее был очень красивый певческий голос, сестру Мелани – она первая ввела его в загадочный мир живописи.

Его дар проявился очень рано, как будто он с ним родился. И достаточно было в один прекрасный день дать ему бумагу и карандаш, как все стало ясно. Изображения жили в окружающем его мире – и одновременно в нем самом, так что ему оставалось только наилучшим образом их совместить. Он понял, что цельность – всего лишь иллюзия, оптический обман, состоящий из миллионов деталей, и эти детали, если захочешь, можно абстрагировать до бесконечности, до мельчайших строительных камешков вселенной. Картина – не что иное, как комбинация светотени, едва заметных изменений оттенков и геометрических узоров, и объединяются эти детали в единое целое только в человеческом сознании. Он видел в изображаемом предмете лишь некое упрощение запредельно сложной геометрии.

Монахини приходили в восторг – ребенок, дошкольник рисовал их карандашные портреты, ему удавалось передать мельчайшие детали облика; мало этого, он подмечал типичное выражение лица или жест, и это служило ему поводом для мастерской карикатуры. Он изображал все, что его просили, с почти фотографической точностью. Он рисовал натюрморты акварелью, копировал тушью иллюстрации к Библии, перерисовывал фотографии, пейзажи, здания, людей и животных. Он словно сам *существовал* в создаваемой картине, и пока он в ней существовал, он не мог из нее выйти. Он не слышал шума улицы, разговоров, он словно

находился во вселенной, где погасили все огни – и остался только один-единственный освещенный уголок, и в этом уголке притулился он сам со своим блокнотом.

Осенью 1931 года, когда ему исполнилось одиннадцать, сестра Мелани первый раз взяла его на Музейный остров – посмотреть настоящую живопись. Странная, почти сакральная тишина; люди, целеустремленно бродящие по залам и внезапно замедляющие шаг у заинтересовавшего их полотна; свет, струящийся из огромных окон, – все вместе произвело на него неизгладимое впечатление. Он инстинктивно понял, что вся его жизнь в будущем связана с местами вроде этого.

«Остров смерти» Бёклина раз и навсегда изменил его восприятие мира. Виктор запомнил это полотно навсегда. Оно настолько впечаталось в его сознание, что много лет спустя он без всякого труда мог воспроизвести его на экране памяти, увидеть в городском пейзаже, в других картинах и фотографиях – везде, где автор сознательно или бессознательно использовал мотив Бёклина: грозные кипарисы, странный, словно увиденный во сне замок, приближающаяся к берегу лодка, на носу фигура в белом (сам Виктор в далеком будущем).

Каспар Давид Фридрих и Карл Блехен стали его фаворитами. Виктор считал, что эти немецкие романтики стали непревзойденными пейзажистами, потому что впервые осознали, что пейзаж может отражать состояние души. На него произвели впечатление и рисунки Шинкеля, и такие художники, как Керстинг, Фор, Филипп Отто Рунге и невероятно плодovitый Адольф Менцель.

Итальянские мастера открыли ему глаза на барокко и ренессанс: Строцци, Мантенья, Беллини, Тинторетто и в первую очередь неподражаемый Караваджо, чьи работы он до этого видел только в альбомах. Для него едва ли не самым страшным ударом в жизни стало известие, что картина «Матфей и ангел» Караваджо погибла во время бомбежки Берлина в конце войны. Это была одна из первых картин, к которой подвела его сестра Мелани, и он часто вспоминал, что она произвела на него впечатление разорвавшегося снаряда. Это было просто чудо. Старый мастер, используя всего три основных пигмента, добился потрясающего, почти невозможного эффекта. Когда Виктор узнал, что работа Караваджо уничтожена, он поклялся, что когда-нибудь обязательно восстановит полотно – его память сохранила каждый слой краски, каждую светотень, каждый мазок до мельчайших деталей.

Эта экскурсия словно бы задала тон последующим годам жизни Виктора. Каждую неделю сестра Мелани водила его в какой-нибудь из музеев. Вооружившись книгами по искусству и каталогами выставок, они досконально изучали художественные сокровища города: Национальная галерея, Музей гравюр, Галерея живописи, Музей кайзера Фридриха. Он побывал во всех уголках этих зданий, знал наизусть каждое полотно и каждый рисунок. Он мог часами сидеть с блокнотом на коленях, добиваясь, чтобы рисунок стал частью его самого, не только визуальной, но и чувственной копией оригинала. Он не замечал возгласов восхищения проходящих посетителей, не замечал сестру Мелани, заглядывающую через плечо, – она судорожно вздыхала, ошеломленная талантом своего питомца.

За пару лет, пока новые политические ветры не изменили Германию до неузнаваемости, в Берлине не осталось ни одной работы, которая не была бы ему досконально знакома. Немецкая, английская, французская живопись. Великие голландцы: Ван Дейк и Кейп, де Хоох и Вермеер, Босх и Рубенс. Он углубился в современную живопись: фовизм, кубизм, выставка «Новой вещности»⁴⁵ в галерее на Курфюрстендамм, экспрессионизм, футуризм и дадаизм. Искусство округляло бесконечные мантиисы бушевавших в нем чувств до ясных и

⁴⁵ Часть экспрессионистов, обратившихся к изображению человеческих страданий, вслед за Диксом и Гроссом, в середине 20-х годов стали называться веристами. Характернейшей чертой веризма, или «новой вещности», было стремление к материальности изображения и подчеркнутому раскрытию уродливости современного мира. В результате большинство веристов пришли к натуралистическому изображению темных сторон действительности.

непререкаемых в своей красоте значений... Он принимал живопись безусловно, полностью открываясь рождаемым ею мыслям, совершенно не обращая внимания, знаменит художник или неизвестен. Поэтому для него стало страшным ударом, когда некоторые из его любимцев вдруг исчезли из музеев. Почему Матисс остался, а Леже исчез, они же так похожи? Почему в залах висит Боннар, а Тулуз-Лотрека как не бывало?

В четырнадцатилетнем возрасте Виктора зачислили учеником в ателье художника Майера на Шкалицерштрассе в Кройцберге. Шел 1934 год. Это было началом его извилистой дороги к зрелости.

Герберт Майер, старый еврей лет семидесяти, выглядел очень молодо. Он сделал себе имя в Берлине как портретист. Его ателье изготавливало также копии классических работ для крупных музеев и рисунки с берлинскими мотивами для фабрики открыток. Виктор стал одним из десяти учеников – их всех разместили в большой комнате над мастерской. В их задачу входило грунтовать холсты и намечать контуры для заказанных картин.

Если сестра Мелани открыла ему двери в мир искусства, то Майер стал его личным проводником. Этот седоватый человек, отец шестерых детей, уехавших искать счастья в Америку, был не только отменным художником, но и выдающимся педагогом. У него было безошибочное чутье на талант. От него не укрылись не только редкое дарование Виктора, но и пробелы в его образовании. Возможно, он видел в Викторе самого себя в юности – одаренный юноша без гроша в кармане, чьи мечты о великом искусстве могут быть легко разбиты горькой действительностью. У Виктора просто-напросто нет денег на обучение, самому же Майеру в свое время было отказано в продолжении художественного образования по откровенно антисемитским соображениям. Он просто не мог не воспользоваться случаем передать свои незаурядные знания молодому художнику, и Виктор получил в дар почти алхимические сведения о свойствах материалов и пигментов, о не поддающихся словесным описаниям тайнах перспективы, а самое главное – умение мыслить руками и глазами, веками передаваемое в наследство от мастера к ученику...

В год поступления в Художественную академию он сделал для Музея кайзера Фридриха свою первую копию барочного полотна. На этом настоял Майер. От Виктора также не потребовалось больших усилий, чтобы произвести впечатление на консервативную приемную комиссию. Он стал едва ли не самым юным студентом в истории академии. Живописное полотно в импрессионистском стиле Тернера было принято восторженно, так же как и несколько набросков углем в духе Шинкеля. На экзамене по рисованию с обнаженной натуры он потряс экзаменаторов каким-то сверхъестественным ощущением анатомических пропорций. И все же образование было бы ему не по карману, если бы сестра Мелани не походатайствовала за него перед епископом. Специально для него католическая община Берлина учредила стипендию, и он поступил в класс профессора Ротманна.

Виктор прожил свои юношеские годы с кистью в руке, совершенно не обращая внимания, какие политические штормы бушевали вокруг. Лишь краем глаза он видел перемены: крикливая пропаганда, вульгарные антисемитские карикатуры в газетах; ни с того ни сего Йозеф Торак и Арно Брекер, любимые скульпторы Гитлера, получают все официальные заказы... он вдруг замечал новую архитектуру, грозную издали и смехотворную вблизи. Время словно ожидало приказа двинуться к катастрофе... Более всего он замечал перемены по экспозициям в музеях: его любимые полотна исчезали, одно за другим, и никто не спрашивал об их судьбе, они оставляли за собой белые квадратные следы на стенах, своего рода эхо никогда не изданного звука; он наблюдал бесконечные полувоенные парады чуть ли не на каждой улице, достаточно широкой, чтобы их вместить, и достаточно тихой, чтобы проникнуться к ним уважением и страхом... И в первую очередь он не мог не заметить плохое

настроение и растущую тревогу Герберта Майера и нервозность своих приятелей по Ноллендорфплац.

Насколько Виктор себя помнил, его всегда тянуло к мужчинам. Он этого не стеснялся, хотя и не гордился; это был факт его жизни, такой же естественный, как наличие у него рук и ног и страсть к живописи. К тому же его влюбленности были чисто платоническими, он был стеснителен и любил на расстоянии. Он был слишком молод, чтобы почувствовать преследования, начавшиеся сразу после прихода к власти диктатора. А в первое же лето, когда он решился посетить развлекательный клуб – Виктор был высок ростом и выглядел старше своих лет, – власти сделали послабление: было велено превратить город в «немецкий Париж». Это был 1936 год, год Олимпиады. Закрытые в первые годы нацистской диктатуры клубы открылись вновь, преследования гомосексуалов прекратились. Зарубежная пресса должна понять и почувствовать, что диктатура вовсе не так беспощадна, какой ее некоторые стараются изобразить. Пропаганда пропагандой, но в будничной жизни Виктор почти не замечал поощряемой государством гомофобии, к тому же он совершенно не интересовался политикой. Артист Густав Грюндгенс, за которым годами тянулись слухи о его гомосексуальности, недавно был назначен шефом Прусского государственного театра. Вожди СА – Рём, Хайнес⁴⁶ – были откровенно гомосексуальны, и большую чистку в «ночь длинных ножей» многие связывали с борьбой за власть, а не с их «извращенными оргиями», о которых без конца писали газеты.

Столица десятилетиями была прибежищем людей одинаковой с Виктором ориентации, и пройдет еще немало времени, прежде чем нацистам удастся искоренить эту весьма и весьма живучую субкультуру. Может быть, поэтому он воспринимал свои юношеские годы как радостное и беззаботное время. Рабочий день в мастерских Майера кончался в четыре. Он садился на трамвай и ехал в академию, работал до полуночи в одной из учебных студий, а потом шел в один из полуправильных клубов на Ноллендорфплац. Он работал, писал, влюблялся – и так же, как ему не нужны были слова для живописи, так и не нужны они были, чтобы выразить или, по крайней мере, определить свою влюбленность.

Его любимым заведением стал клуб «Микадо» в Шёненберге. Осенью 1937 года – той самой осенью, когда жизнь его изменилась раз и навсегда, – посетители этого клуба представляли собой самую невероятную смесь рабочих, клерков и комиков из соседнего кабаре. Клуб посещали исключительно мужчины (формально – члены музыкального общества), но до сих пор никаких подозрений у местных властей не возникало. Возможно, это объяснялось тем, что сам клуб вовсе не ставил целью привлечь к себе внимание – полуподвальное помещение в темном заднем дворе, никаких афиш, не было даже вывески, извещающей, что здесь находится увеселительное заведение... но есть и другое объяснение: история по неизвестным нам причинам многое оставляет на волю случая.

Для того чтобы посещать «Микадо», надо было стать членом клуба. Разрешалось приводить с собой только одного гостя. Клуб в юридическом отношении находился на своего рода «ничейной земле». Статус частного музыкального общества был надежно защищен законом о некоммерческих организациях, который нацисты к тому времени еще не успели отменить, так что клуб «Микадо» долгое время продолжал спокойно существовать в эпицентре шторма. Виктор стал членом клуба по протекции одного из приятелей по академии.

Для того времени клуб был обставлен весьма оригинально: плетеная бамбуковая мебель; баром служили несколько пальмовых пней, обтянутых мешковиной; на полу – дециметровый слой песка: владелец каждый год завозил вагон свежего песка с берегов Рюгена.

⁴⁶ Эрнст Юлиус Рём (1887–1934) – один из лидеров национал-социалистов и руководитель штурмовых отрядов, откровенный гомосексуал, близкий друг и соратник Гитлера, убитый по его приказу. Эдмунд Хайнес – любовник Рёма.

Напитки подавались в скорлупе кокоса с натуральными соломинками. Стены были оклеены фотообоями, изображающими пальмовую рощу на берегу тропического океана. Но самой главной достопримечательностью была детская электрическая железная дорога производства фирмы «Мерклин». Крошечный поезд бежал по периметру зала, а декорации представляли собой мангровые болота в миниатюре, заросли пальм, песчаные берега, пышные плантации, даже искусственные водопадики, приводимые в действие замысловатым гидравлическим механизмом. На платформах вагонов стояли сувенирные рюмочки с аквавитом, и при желании можно было нажатием кнопки остановить поезд и взять свой шнапс.

Патефон был предоставлен гостям. К услугам посетителей было множество американских пластинок – владелец «Микадо» покупал их у контрабандистов. В то время, всего через несколько лет после введения диктатуры, музыкальная цензура была еще не такой жесткой. Имелась также небольшая комнатка, куда могли удалиться страстно влюбленные пары... это убежище было переделано из склада и обставлено в стиле доисторической пещеры: лаз был таким низким, что туда приходилось заползать на четвереньках.

Необычным был и персонал. Два бармена, в коротких штанишках и гольфах, стояли за стойкой бара. Третий днем работал реквизитором в оперном театре, а по вечерам менял имя – становился Лолой, носил вызывающе скроенное вечернее платье и блондинистый парик с волосами до лопаток. С сигаретой в длинном черном мундштуке он был невероятно похож на Марлен Дитрих в «Голубом ангеле».

После короткой передышки, связанной с суетой вокруг Олимпиады, сборища людей сомнительной сексуальной ориентации вновь стали вызывать интерес властей. Облавы, аресты, погромы – они не брезговали ничем. Кирпич, брошенный в окно, или письмо с угрозами – и неосторожные хорошо понимали, что их ждет. Клубы закрывались один за одним – в равной мере из страха и соображений разума. Владельцы устали от постоянного напряжения, от появлений гестаповцев в гражданской одежде – те заказывали выпивку и долго наблюдали за происходящим в надежде обнаружить признаки «содомистской» деятельности. Они и в самом деле устали. Они вздрагивали каждый раз, когда входная дверь открывалась слишком резко или слишком поздно, когда приходили незнакомцы, они устали притворяться, что ничего противозаконного не делают: дескать, клуб как клуб, кафе как кафе, общество как общество, – они старались, как могли, предотвратить облаву, но все было напрасно. «Микадо» не был исключением. Нежелательный визит стал неизбежностью, это был всего лишь вопрос времени.

Когда разразилась катастрофа, Виктор был в клубе. Поезд с аквавитом как раз остановился перед столиком, где он сидел рядом с незнакомцем, углубившимся в газету. Дверь с грохотом отворилась, и в клуб вломилась дюжина парней в форме. Они начали переворачивать столы, кто-то выстрелил в воздух. Виктор инстинктивно бросился на пол.

В суматохе ему удалось незаметно отползти к входу в «пещеру». Он быстро забрался туда, огляделся, чем бы замаскировать вход, и обнаружил, что его насмерть перепуганный сосед ищет, где укрыться. Виктор схватил его за ворот, втащил в грот и прикрыл вход фанерным щитом.

Из зала доносились звуки, похожие на взрывы, – там явно били посуду. Маленькая красная лампочка почти не освещала их убежище. Виктор никогда здесь раньше не был, ему мешала застенчивость. Он с любопытством огляделся, словно происходящее за стеной не имело к нему никакого отношения. С потолка свисали искусственные сталактиты. В песке – пепельницы на высоких ножках. Стены были покрашены слабо фосфоресцирующей краской, а на полу посередине комнаты стояли удобные козетки. На сервировочном столике – пустые бутылки из-под шампанского и портрет Марлен Дитрих с автографом. Здесь мужчины занимаются любовью с мужчинами без всякого стеснения, успел подумать он, но тут

его вернули к действительности донесшиеся из зала пистолетный выстрел и душераздирающий крик. Он никогда раньше не слышал, чтобы человек так кричал, это был даже не человеческий, а звериный вопль, и Виктор понял, что так может кричать только тот, кто чувствует неизбежный и скорый конец. На что ему было надеяться? Он рассчитывал, что тут есть хотя бы пожарная дверь на задний двор, но в помещении не было даже окна.

– Что будем делать? – спросил незнакомец так тихо, что Виктор еле его расслышал.

Темноволосый южанин, его ровесник или чуть постарше. Черты лица нерезкие от ужаса, будто он не в состоянии придать им какое-то выражение.

– Не знаю, – ответил он, пытаясь нащупать выключатель.

Наконец выключатель обнаружился прямо за его спиной. Он погасил лампу.

– Рано или поздно они нас найдут. Ты ведь знаешь, что они делают с такими, как мы...

– Как тебя зовут? – спросил Виктор. Он чувствовал, что собеседника вот-вот покинут остатки самообладания. Может быть, простой вопрос поможет ему немного успокоиться.

– Хаман. Георг Хаман... какая разница? Мы должны во что бы то ни стало выбраться отсюда... О боже, здесь нет ни дверей, ни окон...

Из ресторана доносились ругань, односложные выкрики, какие-то короткие приказы. Еще два выстрела прозвучали до странности глухо, будто кто-то ударил молотком по толстой чугунной болванке. Потом послышались всхлипывания, похожие на плач ребенка.

Глаза Виктора постепенно адаптировались к темноте – теперь единственным источником света было вентиляционное отверстие. Хаман держал в руке портрет Марлен Дитрих.

– Это я сделал, – прошептал Хаман.

– Ты фотограф?

Снова донесся грохот разбиваемой посуды, должно быть, о человеческие головы, подумал Виктор, а может быть, бьют прямо по лицам, нанося страшные, долго не заживающие раны. Невероятно, но кто-то поставил пластинку; звуки джаза заглушали крики.

– У меня даже фотоаппарата нет. Я купил портрет у букиниста. Очень дешево. Народ избавляется от портретов Дитрих.

– Это что, запрещено – иметь портрет Дитрих?

– Не напрямую, но с момента ее эмиграции это выглядит... скажем так, вызывающе. Во всяком случае, бывшего спроса нет, и я купил портрет задешево... Сейчас в моде Сёдербаум и Леандер... все эти шведские звезды. Ну и кто угодно, главное, чтобы был предан партии. Приятели Геббельса. Карл Раддац и ему подобные типы.

Беседа его заметно успокоила. Он даже оживился.

– Автограф я сделал сам и продал хозяевам «Микадо» – они обожают Марлен! И дешево продал... для настоящего автографа.

– Но он же не настоящий.

Хаман улыбнулся.

– А какая разница? Автограф сделан идеально. Никто и никогда не отличит его от оригинала.

– Ты хочешь сказать, что продал им подделку?

– Дешево! Десять марок и клубная карточка. Собственно, меня именно карточка и интересовала. Я не прохожу по возрасту... мне всего девятнадцать.

– Ты их надул!

– Я бы это так не назвал. Я сделал их счастливыми за очень и очень умеренную плату. Лола даже прослезилась. Автограф Марлен!.. Кстати, если ты член клуба, думаю, ты тоже соврал насчет возраста. Ты не старше меня.

Хаман замолчал и прислушался. Из зала донесся странный звук, как будто что-то волокли по песчаному полу. Мебель? Или тела убитых? Виктор сделал глубокий вдох и задержал дыхание.

– Фокус в том, чтобы перевернуть подпись вверх ногами, – еле слышно продолжал Хаман. – Ты как бы обманываешь самого себя – перед тобой уже не имя, а просто какая-то загогулина, и ты спокойно ее перерисовываешь. Куда труднее копировать известное имя, чем бессмысленную закорючку.

Это логично, подумал Виктор. Лишенную смысла фигуру и в самом деле легче скопировать, чем подпись. Так устроен наш мозг: геометрическое мышление.

– Так это то, чем ты занимаешься? Подделываешь автографы?

– И этим тоже. Надо же как-то крутиться... Меня выгнали из дома, когда узнали, что я... ну, ты знаешь... не такой, как все.

Виктор вдруг обратил внимание, что в зале стало тихо. Музыка прекратилась; слышен был только скрип патефонной иглы, царапающей пластинку. Хаман был совсем близко. Он сжал его кисть ладонями: они были холодные и влажные, будто он только что вынул их из ведра с ледяной водой.

– Ты боишься? – спросил он.

– Что за вопрос? Конечно, боюсь.

– Нет-нет, я имел в виду вообще... тебе не страшно, что будет потом? Куда идет страна?

– Пожалуйста, говори потише. Немного подождем, а потом попробуем выбраться отсюда.

– Ты же понимаешь, они не успокоятся, пока мы не исчезнем с лица земли... пока они нас не ликвидируют, всех до одного... извращенцев, уранистов, психических гермафродитов... или как там еще они нас называют.

Они стояли так близко друг к другу, что Виктор чувствовал тепло его кожи. От незнакомца исходил сладковатый запах пота, одеколона для бритья... и еще какой-то трудноопределимый запах... запах оптимизма, воли к сопротивлению.

Хаман наклонился и поцеловал его. Это было настолько неожиданно, что Виктор даже не успел удивиться. Его никогда до этого не целовал мужчина. Он всегда мечтал об этом, но не решался. Уже два года он постоянно посещал клубы вроде «Микадо», нелегальные бары, работающие под видом певческих или шахматных кружков, – и все два года надеялся, что это когда-нибудь произойдет. Мужчины флиртовали с ним, более зрелые и опытные пытались познакомиться с ним поближе, но застенчивость не позволяла ему пойти дальше чем рукопожатие, короткая ласка, прикосновение к прикрытому одеждой телу... Язык, этот маленький влажный зверек, коснулся его десен, нёба, уздечки верхней губы, обвился вокруг его собственного языка... очень мягко и очень нежно. Он вдруг представил себе брачные игры аквариумных рыбок. Чувства не переставая телеграфировали ему: Хаман пахнет табаком и простудой, отросшая щетина на бороде трет ему щеки, как наждачная шкурка трет грунт на полотне, глухой щелчок, будто столкнулись две фарфоровые чашки, – это их передние зубы коснулись друг друга... Они улыбались, не прерывая поцелуя. Виктор потрогал ягодицы Георга, провел пальцами вокруг талии, по шву брюк, коснулся гюльфика... но тут он почувствовал что-то, какой-то холодок – и они отпустили друг друга.

– Я не могу, – сказал Хаман. Глаза его печально светились в полутьме. – Я здесь не один... и так нельзя, это неблагородно... А может быть, он ранен? Или убит?

Момент прошел, сейчас казалось вообще невероятным, что между ними пробежала эта искра – только что Виктора сводила с ума нежность, теперь ее сменил страх.

– Ты постоянно с ним?

– Да, уже год. Он спортсмен... борец. До него мне все изменяли... я не хочу его потерять... Наверное, там никого нет... тишина...

Момент безумия, внезапная страсть, насаженная на штык страха... ее как будто и не было. Они подползли на корточках к выходу и отодвинули щит. В зале повсюду валялась

мебель, поставленная на попа стойка бара возвышалась над ними, как средневековая башня, прикрывая вход в убежище. Это их, по-видимому, и спасло.

От «Микадо» осталось одно воспоминание. В песке лежали ножки стульев, кокосовые орехи, миксеры, поломанные столы, битое стекло, бутылки... все это выглядело как остатки кораблекрушения. На стене были видны темно-красные пятна, и у них не было никакого желания устанавливать их происхождение. В мойку из крана текла вода, заливая месиво из кусочков льда, песка, поломанных бамбуковых палок и еще чего-то... похоже на парик Лолы. Игла продолжала ритмично царапать пластинку, напоминая стихотворение о бессмысленности существования.

– Мы уцелели, – сказал Хаман. – Если и были убитые, они уволокли их с собой.

Игрушечный поезд потерпел крушение в спичечной бамбуковой роще; пролитые рюмки аквавита и кюммерлинга⁴⁷ валялись рядом с мигающим семафором; миниатюрный шлагбаум беззвучно поднимался и опускался каждые пять секунд.

«Жоподёры» – гласила надпись губной помадой на зеркале над входом. Это помада Лолы, вдруг понял Виктор. Ее платье валялось на полу. Лужи крови впитались в песок, образовав ржавые комки.

– Если не возражаешь, – сказал Хаман и вытащил из кассы горсть купюр, неизвестно каким чудом оставшихся нетронутыми. – Там, где Лола сейчас, вряд ли думают о вечерней вырубке.

Плафоны на потолке тоже были разбиты, голые лампы светили ярко и неприятно. У Хамана, разглядел Виктор, на переносице и скулах было множество веснушек. Шрам, похожий на сабельный, шел от уголка рта к виску, что придавало ему веселый вид – он чем-то напоминал клоуна.

– Коричневорубашечники, – сказал он и потрогал щеку, как раз в том месте, куда смотрел Виктор. – Два года назад в Тиргартене... ну там, где наши встречаются, ты знаешь... Они прятались в кустах. Я легко отделался – парень, с которым я был, получил пулю в живот. А меня они полоснули ножом ипустили.

– Мы встретимся еще?

– Может быть... возьми вот это...

Он протянул визитную карточку. «Г. Хаман, – стояло там. – Филателия и автографы. Кнезебекштрассе 27, Берлин, Шарлоттенбург».

– Я снимаю комнату. Квартирная хозяйка не позволяет пользоваться телефоном. Ты можешь заглянуть ко мне, скажи только, что интересуешься марками... Она уверена, что я помолвлен. «Не пора ли жениться, господин Хаман, – повторяет она каждую неделю, – пора уже вести вашу девушку в ратушу, не забудьте только спросить у нее справку об арийском происхождении, прежде чем давать клятву верности». У меня иногда появляется желание сказать: «Ничего подобного не будет, госпожа Хайнце, меня интересуют только мужчины. Большие и волосатые, маленькие и лысые, худые и толстые, любой подойдет, был бы хороший огурец между ног». Честно говоря, я бы дорого заплатил, чтобы увидеть ее физиономию. Она член их партии, квартальный надзиратель в Volkwohlfahrt. Во всех четырех окнах флаги – пропустить невозможно. Так что заходи, если надумаешь...

Мы не сделали ничего плохого, подумал Виктор. Ничего грешного. Это не мы уроды. Уродлив мир. Никому мы не причинили вреда, это не мы разгромили «Микадо»... Вот так устроена жизнь: протягивает визитную карточку из бездны, сводит посреди кровавой катарстрофы двух юношей... и нельзя определить, что плохо, а что хорошо, и никому не придется ни за что отвечать, потому что бытие лишено справедливости.

– А ты не интересуешься автографами?

⁴⁷ Кюммерлинг – крепкий спиртной напиток, настойка на травах.

– Поддельными?

– Недорого. Ты хорошо целуешься. Что скажешь, например, об автографе парня, который за всем этим стоит? Самого Адше, нашего любимого вождя?

Из внутреннего кармана пиджака он достал пачку фотографий; на самой верхней был изображен Гитлер у чайного стола со своей любимой овчаркой, в гражданском платье. Автограф гласил: «С лучшими пожеланиями, Адольф Гитлер».

– Возьми любую. На память. Хорошо зарабатываешь. Партийные фанатики отдадут последнее за подлинную фотографию фюрера... У меня и Геринг есть, в старой летной форме. И Рифеншталь... она после Олимпиады распоряжается огромными деньгами. То же со Шмелингом; у меня есть его фотография в белых боксерских перчатках, запачканных кровью. «Спортивный привет от Макса» – и подпись.

Виктор взял несколько подписанных фотографий.

– Пошли отсюда, – сказал Хаман, – а то они вспомнят, что забыли раскурочить железную дорогу Мерклина, и вернутся. В полиции нравов служат основательные типы.

И они ушли вместе, непокорно выпрямив спины... Они вышли на задний двор, где обыватели приседали за полузакрытыми шторами, потом на улицу... и пошли, пошли, словно бы ничего особенного и не случилось на Ноллендорфплац.

Когда Виктор тем же вечером доехал надземкой до Гёрлитцен Банхоф, была уже полночь. Пережитый им ужас постепенно перешел в желание хоть как-то запечатлеть его в изображении. Тушь... или акварель, какой-нибудь материал с высокой энтропией, только не масло с его неторопливостью. Мотив рос, обретал динамику и форму – надо было спешить. Будущий рисунок заполнил всю его душу, все эти странные залы и чуланы сознания, где создаются и хранятся цветовые и пластические аккорды... но недолго, совсем недолго: их вытесняют другие, а потом и те растворяются – слишком большой объем, память с ее ограниченными ресурсами не в состоянии хранить столько информации. Но сейчас он шел по улице, и мотив обрастал деталями, элегантными формами, трущимися друг о друга геометрическими узорами, размытой перспективой. На своем внутреннем полотне Виктор уже создал этот рисунок, но он знал, что он недолговечен, надо как можно скорее перенести его куда-то, прежде чем он утонет в себе самом.

Картина должна была представлять разгромленный «Микадо», а среди разгрома – люди с портретов, лежащих у него во внутреннем кармане пиджака. И сам он тоже там, как и фальсификатор автографов Георг Хаман. Высвобожденные из оков центральной перспективы, они целуются на заднем плане со всей страстью, которую только можно передать посредством теней на лицах влюбленных. Они невидимы для преступников, словно ангелы в земных одеждах, губы страстно приоткрыты, вьются языки, словно две яркие коралловые рыбки... а Макс Шмелинг и Лени Рифеншталь (один в окровавленных боксерских перчатках, другая с неизменной кинокамерой) с удовольствием любуются результатами погрома. Хромой Геббельс блюет в раковину с Лолиным париком на голове, а Гитлер оставляет автограф – губной помадой на входе в грот, где они прятались.

Он был в Кройцберге, чуть к юго-западу от центра Берлина, в двух шагах от мастерской Майера. Его словно привела сюда невидимая рука – настолько необоримо было желание взять в руки карандаш, настолько страшно было пережитое.

На улице не было ни души. Фонари погашены. В витринах свастики... эти свастики, как и другие детали, походя впечатывались в палитру. Он вдруг увидел другую картину: игрушечный поезд везет рюмки с кроваво-красным содержимым. На первом плане – Лола. Она стоит у входа в «Микадо» с песочными часами в руке... нет, это было бы чересчур аллегорично. Лола уступила место волку в женском платье – волк сурово проверял членские билеты у полицейского патруля, которому не терпелось полюбоваться погромом.

Он свернул за угол и пошел по Шкалицерштрассе, поглощенный внутренними видениями. Воображение подкидывало ему картинку за картинкой, они были ничуть не менее реальными, чем улица, по которой он шел. Они занимали уже законное и неоспоримое место в четырех измерениях физического универсума, как, допустим, брусчатка под его ногами, или судорожно глотаемый холодный октябрьский воздух... или пережитый им страх смерти, еще шевелящийся в груди. Он шел и работал, молча, погруженный в себя. Надо было сразу решить формальную проблему встречи основных тонов с перспективой, он добавлял и отбрасывал детали... Вдруг ноги его остановились, хотя он как будто никакого приказа им не отдавал – он понял, что находится в двадцати метрах от мастерской Майера.

У дома, заехав передними колесами на тротуар, стояла полицейская машина, освещающая фарами фасад. Никого не было видно, только в соседских окнах шевелились шторы. Дверь подъезда открылась, и полицейские в гражданской одежде выволокли на улицу двоих насмерть перепуганных людей.

Все это происходило в полном молчании, запомнившемся Виктору на всю оставшуюся жизнь. Живопись лишена звуковой палитры, она может звучать разве что в фантазии зрителя, так и сейчас, несмотря на тишину, он слышал какой-то внеакустический, пронзительный звук. Нос Майера был разбит и свернут на сторону, верхняя губа лопнула, напоминая врожденный дефект, зубы выбиты. Госпожа Майер была совершенно голой, на ней не было даже ночного белья, и самое страшное, страшнее, чем окровавленное лицо, было вот что: в руке она сжимала вставные зубы, словно последнюю ниточку, позволяющую ей сохранять достоинство.

Все так же, в молчании, полицейский открыл дверцу и с неожиданной осторожностью помог супругам Майер влезть на заднее сиденье. Машина зажужжала, как насекомое, и медленно выехала на улицу. Только когда она исчезла, мир вновь наполнился звуками: где-то залаяла собака, скрипнуло окно у соседа, с грохотом, как внезапные раскаты грома, промчался поезд надземки...

Герберт Майер вернулся через две недели, чтобы закрыть мастерскую. Вышел новый закон – неарийцам было запрещено заниматься связанной с искусством коммерческой деятельностью. Его и супругу якобы заподозрили в нарушении этого закона, арестовали и отвезли в тюрьму в Тегеле. Никто так и не узнал, как ему удалось выйти на волю, никто так и не узнал, что случилось с его женой. Он приехал один, сразу после полудня, и не обмолвился ни словом ни о судьбе жены, ни о том, где он был и что с ним делали. Ученики его не узнали. Он совершенно поседел, как-то съежился, одежда висела на нем как на вешалке... он лишь отдаленно напоминал их учителя. Он коротко объяснил, что прекращает свою деятельность и собирается как можно скорее покинуть страну. Все свободны. Он, к сожалению, не может им предложить ничего, кроме материалов и инструментов в мастерской.

Семнадцатилетний паренек стоял крайним слева среди учеников, окруживших своего учителя. Он был на распутье. В его юной жизни настал час ноль. Без работы, это-то он понимал прекрасно, оплачивать обучение в академии будет нечем.

– Коричневая мразь только и думает, как бы нас уничтожить. У них из-за нас бессонница, они ночью таращат глаза в темноту и думают, как избавиться от этой язвы. Им даже извиняться не нужно. Германская раса под угрозой, а наше существование – угроза всеобщему размножению. Мы же постоянный источник опасности разложения нации, мы с нашим искусством оболъщения в состоянии развратить множество честных немецких рабочих со скрытыми педерастическими наклонностями, о которых они и сами не подозревают! Взгляд в лифте, вовремя подставленное бедро в трамвае – этого довольно, чтобы невинного доселе человека заразить вирусом гомосексуальности. А дети! Они утверждают, что мы и детей вовлекаем в разврат, не успеет ночь спуститься над Тиргартеном. Онанирующий гомик в

кустах, разве можно с таким мириться? Вот он сопит с пакетиком сливочной колы в руке: «Иди сюда, малыш, обними дядю, получишь карамельку, и обещаю, что никому не расскажешь!» И солдат из нас не сделаешь, разве что из моего борца Морица. В ночных кошмарах генерального штаба без нас тоже не обходится: они уверены, что армия может превратиться в змеиное гнездо, они боятся гомосексуальных оргий, драк между бородатыми парнями в форме, которые обожают оперу и успевают попудриться, когда командир отвернется. А что начнется в казармах! Кокетливые мужики в париках сидят и дробят круглые сутки, и никто не слушает команду. Эти поганые коммунисты и то лучше, у них все-таки есть партийная программа и хоть какая-то дисциплина. На шкале мерзости мы стоим ниже всех, просто-таки неполноценные, вроде евреев, вонючий вырост на чистом теле народа, который надо отрезать, пока не распространилась зараза...

Георг Хаман замолчал и критическим взором оглядел вывеску, которую Виктор привинчивал на фасаде над магазинчиком по Горманнштрассе в Восточном Берлине.

– Чуть левее... вот так, затяни верхний болт. И поосторожней, я не хочу, чтобы ты загремел оттуда и пополнил статистику несчастных случаев среди немецких содомитов.

На эмалированной вывеске было написано готическим шрифтом: «Братья Броннен. Филателия и автографы». Итак, они теперь братья, по крайней мере в деловом отношении. А ничего не говорящая фамилия Броннен, идеально немецкая и идеально мелкобуржуазная, – что может быть лучше в стране, возведшей все немецкое и мелкобуржуазное в идеологическую догму.

– И все же немножко косо... Возьми уровень... и пожалуйста, внимательнее, ступеньки обледенели.

– Все в порядке, Георг, не волнуйся, лучше передай мне отвертку.

– Роберт! – воскликнул Хаман. – С сегодняшнего дня – только Роберт. Так в бумагах: Роберт и Густав Броннен. Беженцы из Судет. Погодки – двадцать два и двадцать три. Совершеннолетние, имеют право заниматься коммерческой деятельностью. Попытайся вбить это в свою мечтательную художественную башку. Нельзя же путаться в таких основах, как собственные имена. Вся наша работа построена на доверии заказчиков – они должны твердо знать, с кем имеют дело. Мы честны, благородны, расово чисты и всегда готовы положить глаз на блондинку с высокой грудью с целью производства нового солдата для вермахта. Одна лишь проблема, Виктор, – народ все ту же затягивает пояс.

– Густав, если мне дозволено будет заметить, дорогой старший братец. Не Виктор, а Густав. И держи крепче лестницу, я закончил.

Густав Броннен, он же Виктор Кунцельманн, вновь родившийся молодой человек с новым именем, новым годом рождения. Этот генеалогический саженец, готовый начать жизнь с нуля, спустился на землю и критически осмотрел витрину филателистической лавки. В самом центре витрины лежал плакат, изображающий французскую пятнадцатисантиметровую марку, зеленую, первого завода знаменитого 1873 года, – это была лакомая наживка для филателистов Митте.

Жизнь полна неожиданностей. Документы их не вызывали никаких сомнений: они раздобыли их с помощью подделанной чешской выездной визы. Поставили в Праге печать на *подлинном* бланке немецкого консульства, достали справку от благотворительной организации в Судетах, подтверждающую их статус беженцев и право на возмещение утраченного имущества во время предшествующего оккупации спонтанного бунта (утрачена была лишь крошечная филателистическая лавка, но все же!), и самое главное – врачебное заключение об освобождении обоих братьев от воинской повинности (хронический туберкулез). В эту зиму, когда бряцание оружием стало оглушительным, такая справка была важнее всего.

Еще не было восьми. По главной улице квартала, Розенталерштрассе, грохотали трамваи, везя рабов канцелярий на Александерплац. Там они рассеивались в подземном круге

городского кровообращения, по венам и артериям метрополитена. Господа с напмаженными усами в костюмах и толстых драповых пальто, секретарши с наклеенными арийскими улыбками в плиссированных юбках, эсэсовцы в начищенных сапогах, понурые рабочие, не выказывающие ровным счетом никаких политических симпатий, мелкие служащие с шикарными шевелюрами и в стертых на локтях пиджаках... Кислые прусские физиономии, коробки с едой, теснота, ругань, гитлерюгенд, пропагандистские плакаты на каждой тумбе между Ораниенбургерштрассе и площадью Хорста Весселя: «Нужна твоя помощь!», «Содержи Германию в чистоте!», «Евреи – вон!»... И наверняка среди этого люда найдется немало филателистов.

Похолодало – минус четыре. С небес цвета заветренного мяса сыпал колючий снег. На Горманнштрассе под вывеской «Братья Броннен» стояли двое молодых людей и, не замечая непогоды, курили сигариллы.

– Здесь рядом была первая контора Хиршфельдта, – сказал Георг. – Потом он переехал на Бетховенштрассе. А на углу Мулакштрассе – ресторан Содкеса, традиционное место встречи единомышленников. Мы, можно сказать, в знаковом районе.

– Содкеса я знаю, а кто такой Хиршфельдт?

– Магнус Хиршфельдт! Это же верх невежества – не знать, кто такой Хиршфельдт! Известный исследователь сексуальности. Защитник гомосексуалов. Сам гомофил. Руководил созданным им институтом сексологии. Издавал газету для педерастов «Третий пол». Основатель извращенческого «Немецкого общества дружбы». Едва нацисты пришли к власти, тут же спалили институт до основания. Даже с еврейским вопросом они так не торопились... одним ударом убили трех зайцев: парень был не только педераст, но еще и еврей, а в довершение всего – социал-демократ. Апостол разврата, как его называли штурмовики.

– Не говори так громко, брат Роберт. Зайдем в помещение.

– Дай мне насладиться сигариллой! И потом, мы одни. Еще и восьми нет.

Он был прав. На Горманнштрассе было пусто, если не считать понурого коняги, прозванного местными остряками Бисмарком. Бисмарк был запряжен в телегу с коксом угольщика Краузе.

– И то, что они первым делом сожгли институт Хиршфельдта, показывает, насколько для них важен вопрос о гомосексуалах. Сначала занялись гнусными содомитами, а потом уже всем остальным. Это называется демографической политикой... лучше бы назвали диктатурой размножения. Гомосексуалы не делают детей. Их семя расходуется на извращенческие удовольствия. Альфред Розенберг и другие партийные идеологи на полном серьезе полагали, что от нас исходит опасность, что мы с Рёмом, Хайнесом и их мальчиками во главе можем захватить власть в государстве. Гомосексуальный заговор! Поверь мне, тут-то плотина и лопнула. После этого все уже было дозволено. Ату их, педрил, коммунистов, недочеловеков! Сожги их клубы, партийные конторы, синагоги! Но ты, может быть, ничего этого и не заметил в академических студиях?

Виктор вспомнил Майера. Из надежных источников он знал, что тот в Англии, в безопасности. Успел в последнюю секунду.

– Я знал многих, кто исчез... Скульптор с моего курса сидит в каталажке. Нарушение параграфа 175.

– Ну, это он легко отделался. Ходят слухи, что они кастрируют гомосексуалов. Зачем? Мы же не собираемся размножаться... – Хаман бледно улыбнулся. – В этом городе не осталось ничего, что я любил... Куда делись атмосфера, чувство свободы, либеральный дух? Мне было пятнадцать, когда я приехал сюда из Гейдельберга. Отец, как ты знаешь, был профессиональным военным. Дома царила казарменная дисциплина. Даже пустые бутылочки в кухонном шкафу выстраивались в кавалерийские формации. А потом меня выгнали из дома, чему я, кстати, был очень рад, – и вот в один прекрасный день я стоял на Анхальтер Банхоф и вдыхал

хал запахи Потсдамерплац. Я начал ошиваться по клубам с первого же дня... не спрашивай, откуда у меня были деньги, а то мне придется вываливать кучу безвкусных подробностей... похотливые старики в Хазенхайдпаркен... но клубы, Виктор, клубы! «Эльдорадо» и «Зауберфлёт», «Дориан Грей» на Бюловштрассе. Бар «Монокль» в Вестенде, «Силуэт» с фонта-нами из шампанского и голыми до пояса официантами. В «Мильхбар» работали три африканца... куда они делись, можно только догадываться. «Кумпельнест» был совсем рядом, на Вайнбергвег. Сейчас это клуб «Гитлерюгенд». Ты когда-нибудь состоял в гитлерюгенде?

— У католиков были свои скаутские клубы.

— А я состоял... незадолго до того, как меня выперли из дома... как я ненавидел весь этот тирольский йодль, пешие марши... Борьба в вонючей грязи под звуки Баденвайлер-марша. Бодрые песни в строю. Бабаханье в лесу из деревянных ружей. Ломающиеся голоса и пробивающиеся усики... В летнем лагере в Гейдельберге я впервые поцеловался. Парень был перепуган до смерти — это же очевидное нарушение сто семьдесят пятого параграфа!

Несмотря на всю свою мечтательность, Виктор знал, о чем говорит Хаман. Параграф 175, или, как его называли в народе, педрильный закон, был введен почти сразу после прихода нацистов к власти. Нарушителям грозили большие сроки. А в случаях, когда были замешаны эсэсовцы или речь шла о совращении малолетних, — смертная казнь. «Все злобные поползновения еврейского духа собраны в гомосексуализме» — прочитал он недавно в «Фолькишер беобахтер»⁴⁸, попавшейся ему в кафе на Ку-дамме⁴⁹. А совсем недавно, на заседании Министерства юстиции, президент сената Клее подвел итог: «Государство крайне заинтересовано, чтобы в основе нашей жизни лежало нормальное общение полов, избавленное от влияния гомосексуализма и других извращений».

— Это всего лишь начало, — сказал Георг. Вид у него был такой, словно он только что проглотил яд. — Будет только хуже, я это ясно чувствую. Осторожность, Виктор... главное слово для нас — осторожность. Государственный центр борьбы с гомосексуализмом, новое любимое детище дядюшки Гиммлера в полиции безопасности, получил фактически неограниченные полномочия. Шефа зовут Майзингер, Йозеф Майзингер... запомни это имя. Людей, если не убивают на месте, то загоняют в концлагеря, как Лолу и других из «Микадо». У них полно осведомителей, провокаторы пристают к мужчинам, чтобы проверить их ориентацию. В городе не осталось ни одного клуба, люди перепуганы до смерти. Многие даже перестали здороваться со старыми знакомыми.

— Давай зайдем в помещение, — сказал Виктор, — я замерз.

— О черт! Я пытаюсь вбить тебе в голову, насколько все серьезно. Мы и так занимаемся небезопасным делом, но еще опаснее, если обнаружится, что тебя интересуют мужчины. Честно говоря, нам следовало бы обзавестись прикрытием... раздобыть каждому по невесте.

— Надо подумать... Слушай, я совершенно заledenел.

— Только думай не слишком долго. И если тебе в трамвае начнет улыбаться какой-нибудь красавец, смотри в пол...

В филателистической лавке на Горманнштрассе стоял только что купленный камин. После пронзительно-холодного берлинского воздуха он казался чудом. Виктор и Георг наслаждались атмосферой своего заведения — они потратили несколько месяцев, чтобы сделать его привлекательным для филателистов Восточного Берлина. Планшеты с известными марками украшали стены: Тоскана номиналом в три лиры 1860 года, прекрасный тет-беш⁵⁰

⁴⁸ «Фолькишер Беобахтер» — ведущая газета национал-социалистов в период Третьего рейха.

⁴⁹ Ку-дамм — Курфюрстердамм, центральная улица в Западном Берлине.

⁵⁰ Тет-беш — «валет», сцепка из двух марок, одна из которых находится в перевернутом положении относительно дру-

1849 года, несколько редких кайзеров начала века. «Раритеты» были выставлены в стеклянных стендах вдоль стен: квартблоки со всех углов Европы, конверты первого гашения и редкие колониальные марки. Большинство марок было куплено на аукционах – Георг получил небольшое наследство, но не так уж мало было и подделок, изготовленных неким Виктором Кунцельманном. Оказалось, у него незаурядный талант в этой области. Настолько незаурядный, что Георг в последнее время занимался исключительно деловой стороной, а всю тонкую и не прощающую ошибок работу с цинковыми пластинами и высокой печатью передоверил своему академически вышколенному коллеге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.